

АРТЕФАКТ & ДЕТЕКТИВ

По преданию, сплетенный
магией подземных
Карликов, объединивший
шесть сутей, ошейник
единожды сумел
подчинить Зверя,
но сохранил ли он силу
свою спустя столетия?

Екатерина ЛЕСИНА

Ошейник Жеводанского зверя



Артефакт & Детектив

Екатерина Лесина

Ошейник Жеводанского зверя

«ЭКСМО»

2010

Лесина Е.

Ошейник Жеводанского зверя / Е. Лесина — «Эксмо»,
2010 — (Артефакт & Детектив)

В 1767 году Жан Шастель застрелил Жеводанского зверя, убившего более ста человек. И на этом кровавая история волка-оборотня завершилась. Но остались те, кто сомневался в счастливом исходе, и среди них один из сыновей Шастеля – Пьер. От него Тимуру Шастелеву остались записки, шелковый пшнурок-ошейник, дающий власть над Зверем, и родовое проклятье. Расследуя убийство молоденькой девушки, следователь Никита Блохов не рассчитывал напасть на след маньяка и оборотня. Но ведь он – прирожденный охотник, которому суждено остановить Зверя, если, конечно, тот не ударит первым...

© Лесина Е., 2010

© Эксмо, 2010

Содержание

Отчет французского нотариуса Рош-Этьен Марэна о загадочном существе, известном под названием Жеводанский Зверь	5
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Екатерина Лесина

Ошейник Жеводанского зверя

Отчет французского нотариуса Рош- Этьен Марэна о загадочном существе, известном под названием Жеводанский Зверь

Сегодня, 20 июня 1767 года, я – Рош-Этьен Марэн, королевский нотариус, балли королевского аббатства Шаз, Варью, баронии Прадез, выборный Ланжака, с согласия его светлости монсеньора Балленвилье, интенданта провинции Овернь в отсутствие месье субинтенданта. Нам стало известно о том, что месье маркиз д'Апше сильно озабочен происходящими вот уже несколько лет ужасными набегами дикого зверя на границе провинции Овернь и области Жеводан, для уничтожения которого были проведены многочисленные облавы, к сожалению, не давшие результатов.

В конце концов, зверь, появившись в приходе Нозейроль и в приходе Деж 18-го числа сего месяца, сожрал дитя. Месье маркиз д'Апше был поставлен в известность о происшествии и в этот же день, 18-го числа сего месяца в одиннадцать часов вечера, с несколькими охотниками, поспешно им собранными, всего числом двенадцать, отправился в свой лес, а затем и на территорию леса месье маркиза де Пона. Этот хищный зверь предстал в десять часов с четвертью вчера утром, 19-го числа сего месяца, перед одним из охотников по имени Жан Шастель, родом из прихода Бессейр, выстрелившим в животное из мушкетона, отчего оно упало мертвым на краю леса Теназейре, что в приходе Нозейроль.

Месье маркиз д'Апше, после того как перевез животное в свой замок Бески в приходе Шаре, решил пригласить нас для проведения проверки. По прибытии в замок Бески месье маркиз д'Апше представил нам данное животное, которое мы опознали как волка, но чрезвычайно сильно отличающегося мордой и пропорциями от волков, которых мы видели в данной местности. Это подтверждается свидетельством более чем трехсот очевидцев со всей округи, прибывших взглянуть на зверя, нескольких охотников и многих других опытных знатоков. Мы определили, что животное имеет сходство с волком только хвостом и задней частью, голова же его просто чудовищна и похожая на свинью. Его глаза имеют необычную часть, похожую на пленку, выходящую снизу глазницы и способную закрывать всё глазное яблоко. Его загривок покрыт очень грубым серо-рыжеватым мехом с несколькими черными полосами, на груди большая белая метка в форме сердца, его лапы имеют по четыре пальца, вооруженных большими когтями, длина которых значительно превышает размеры когтей обычных волков. Передние ноги того же цвета, что и оленья шкура. Это нам показалось примечательным наблюдением, поскольку, по мнению охотников и людей знающих, они никогда не видели волков подобных окрасов. Мы заметили, что его ребра вовсе не похожи на ребра волка, они позволяли ему свободно поворачивать спину, в то время как ребра обычных волков расположены наискось и не дают такой возможности.

В верхней челюсти находятся шесть резцов, шестой – длиннее остальных; два больших клыка и по шесть коренных зубов слева и справа. В нижней челюсти находятся двадцать два зуба: шесть резцов и с каждой стороны клык, как в верхней челюсти, по семь коренных зубов.

Мы заметили рану из трёх надрезов внизу правого бедренного сустава, как внутри, так и снаружи, и нащупали под коленным суставом три дробины. Нас уверили, что это ранение нанес сеньор де Лаведрин, лошадиник, выстрелом из ружья два года назад или около того, а также еще одно старое ранение в левое бедро около сустава, еще одна старая рана над левым

веком, которая, кажется, была нанесена режущим инструментом. Наконец, этот зверь получил смертельный выстрел из ружья, который пробил ему шею, разорвал артерию и раздробил левое плечо.

Из числа сельских жителей, здесь собравшихся, нижепоименованные узнали в этом животном Зверя и дали следующие показания:

Пьер Аре из Сервилланж, прихода Вентеуж, сказал, что нанес зверю весной 1766 года ранение из ружья в левую ногу.

Жан-Пьер Луд из Вейсейра из прихода деревни Сож, 22 года, заявил, что нанес зверю удар штыком, когда тот пытался схватить девочку из деревни Саузе весной 1766 года.

Жозеф Регор, Жан-Жак Лорен и Бастид Буржеон из Сервилланжа показали, что Гийом Бартелеми был застигнут врасплох зверем, когда охранял скот.

Франсуа Лоран из Вашеллери, прихода Вентеуж, 32 года, заявил, что подвергался набегам зверя в течение трех недель.

Жозеф Шассефейр из местечка Фресс в приходе Шаналлейль в Жеводане показал, что был атакован зверем год назад, когда тот напал на его быков, запряженных в повозку, и ему потребовались большие усилия, чтобы отбиться при помощи мотыги с двумя зубцами.

Антуан Плантен из Сервьера в приходе деревни Сож, 40 лет, заявил, что тот же зверь утащил его дочку 2 марта. Он преследовал животное примерно пятьсот шагов, но потерял из виду в лесу, и его дочь была съедена.

Симон Бартелеми из Сервьера в приходе деревни Сож, 22 года, заявил, что это животное напало на него на пастбище в месяце сентябре, и он выстрелил в него из ружья.

Лорен Ведаль из Сервьера, 17 лет, показал, что это животное нападало на него два раза в месяце мае, но он, к сожалению, был вооружен лишь штыком, впрочем, спасшим ему жизнь. Он также сказал, что видел зверя на пастбище на протяжении примерно двух недель и что зверь съел ребенка Жака Мейроненка.

Антуан Лоран из Сервьера, 12 лет, сказал, что был атакован зверем месяц назад, и он бы погиб, если бы его не спас прохожий.

Жан Бергуну из Моншове, прихода деревни Сож, 48 лет, сообщил нам, что зверь съел мальчика девяти лет в марте 1766 года, и он преследовал зверя долгое время, но неудачно. Он добавил, что зверь напал на него в марте месяце и не съел его только потому, что Бергуну был вооружен железной лопатой.

Анна Шабанель из Вьяллевилля, прихода деревни Сож, 17 лет, заявила, что этот самый зверь напал на нее в августе месяце 1766 года, и она нанесла ему несколько ударов штыком, но безрезультатно.

Маргарита Дентиль из Вьяллевилля, 32 года, заявила, что этот зверь напал на неё во время прошлого поста, и если бы она не была вооружена топором, то погибла бы.

Мари Ребуль из Вейсейра, 19 лет, сказала, что этот же зверь напал на нее также в последний пост, и показала нам три раны, которые он нанёс ей на верхней части правой руки, и другую рану 16,2 см в длину, начиная с теменной кости до задней стороны щеки. Он откусил ей ухо. Её рана до сих пор не срослась.

Жан Шассефейр из Вейсейра, прихода деревни Сож, 44 года, показал, что этот самый зверь хотел сожрать Мари Ребуль, на помощь которой он прибежал.

Антуан Дентиль из Вейсейра, 14 лет, заявил, что этот самый зверь напал на него в лесу 6-го числа сего месяца, и он отбил его от него, нанеся несколько ударов штыком.

Катерина Фревсене из Вейсейра, 42 года, показала, что этот зверь напал на неё в месяце июле 1766 года.

Пьер Серубрей из Вейсейра, 22 лет, показал, что видел этого зверя два года назад, когда тот тащил ребенка 8 лет, но выронил его. Зверь съел бы дитя, если бы не подоспел его отец и не спас его.

Жан Тейсседр из местечка Мейронн, прихода Вентеуж, 29 лет, заявил, что зверь нападал на него дважды за приблизительно 18 месяцев.

Жан-Пьер Тюилле из Рува в приходе Вентеуж, 40 лет, заявил, что был укушен в левое бедро этим зверем два месяца назад.

Бартелеми Мусье из Муррана в приходе Вентеуж, 15 лет, заявил, что зверь гнался за ним 5-го числа текущего месяца.

Жан-Батист Бергуну из Вашелери, прихода города Польяк в Жеводане, заявил, что этот зверь нападал на него два раза в течение мая месяца.

Антуан Вейре из Помпейринка, в приходе Бессейр в Жеводане, заявил, что зверь напал на него 5-го числа текущего месяца.

Жан Бурье из местечка Помпейринк, 12 лет, показал, что в то время как он забрался на дерево, этот самый зверь схватил за ногу другого ребенка такого же возраста, но на помощь прибежал мужчина, и зверь отступил, опасаясь преследования.

Бартелеми Дентиль из Святого Соля, прихода Бессейр, 50 лет, заявил, что этот самый зверь нападал на него в лесу три раза за один и тот же день в апреле месяце и изо всех сил старался утащить маленького ребенка, который был с ним.

Жак Пиньоль из Путафу, прихода Вентеуж, 57 лет, заявил, что этот самый зверь в мае месяце появился на лугу и хотел утащить одного из его детей, которого он держал на руках.

Все, из большого количества жителей, заверили нас, что бесчинства, совершаемые этим зверем, стали еще страшнее после последнего празднования Пасхи. И что за это время он загрыз в разных местах на границе Жеводана и Оверни по меньшей мере двадцать пять человек.

Все приложенные измерения зверя были сделаны мэтром Антуаном Буланже и Кур-Дамьеном Буланже, магистрами хирургии, проживающими в Соже, в присутствии месье Жана-Батиста Эгульона де Ламота, доктора медицины, проживающего в Соже.

Из желудка зверя была извлечена кость, похожая на часть плечевой кости среднего ребенка. Все мы также отметили факт, что у этого животного от передней лапы до позвоночника высота составляет 77 см и его глаза цвета красной смородины.

Мы предложили месье маркизу д'Анши и месье графу д'Анши, его отцу, передать это животное в руки и под начало месье Десгринара, бригадира конницы в Ланжаске, тут присутствующего, чтобы отправить в сопровождении двух всадников из его бригады к монсеньору Балленвилье, интенданту провинции. Месье граф и маркиз д'Анши нам ответили, что монсеньора Балленвилье в настоящее время нет в Клермоне и что они хотели бы оставить зверя себе, сделав это в очень достойной манере.

Мы составили настоящий протокол в четырех экземплярах, подписанных вышеупомянутыми месье де Ламотом, Буланже и вышеупомянутым месье Десгринаром, а также отдали два экземпляра месье маркизу д'Анши, по его просьбе, а третий был отослан месье Балленвилье, интенданту.

Сделано в вышеупомянутый день.

Марэн, выборный Ланжасака, Эгульон де Ламот, доктор, Буланже, доктор хирургии, Буланже, магистр хирургии, Десгринар, бригадир¹.

Это может показаться странным, но я любил Калькутту. И именно эта любовь заставила вернуться, эта любовь однажды навалилась на плечи тяжестью и тоской, грозя переломить хребет; эта любовь закрыла рот и нос душной лапой безысходности; эта любовь прошептала на ухо:

– Только там.

Да, только здесь я снова могу быть счастливым.

¹ Сокращенный вариант отчета французского нотариуса Рош-Этьен Марэна о вскрытии Жеводанского Зверя.

Здравствуй, Калькутта! Муравейник в камне, люди-муравьи и паруса из серых простынь, что хлопают, пытаясь поймать случайный ветер. А тот, ускользая из влажных объятий, от запаха хозяйственного мыла и синьки, стелется по асфальту, гонит пустые пакеты, тревожит банки, шарахается из-под колес.

Есть корабли в моей Калькутте.

Дешевые шхуны с облезлыми бортами, мутными зеркалами да хмурыми капитанами, что до хрипоты спорят за лучшее место. Редкие каравеллы, иноземные гости, клейменные «Фордом» или «Фольксвагеном», «Ауди» или «Опелем», но одинаково круглоглазые и брезгливые, норовящие поскорее вырваться отсюда. И хозяева их разделяют мечту.

Вываться не выйдет. Все вернутся в Калькутту. Уж я-то знаю.

Знают и капитаны летучих голландцев под флагами «Мерседеса». Эти появляются ближе к ночи, крадутся, не в силах противиться зову, не в силах признаться в любви, и оттого, смешные, заглядывают в Калькутту так, как заглядывает подросток под юбку одноклассницы, сам не зная зачем.

Но я выше их всех.

Я другой. Я вернулся. Я купил себе дом, который стоит на границе, я будто и не здесь, но с нею.

Вообще следовало бы сказать, что как таковой Калькутты не существует, что это не город на берегу моря, а всего-навсего район, для тех, кто живет вовне, обыкновенный и даже унылый, похожий на все другие районы чохом. Я как-то пытался объяснить... объяснял даже. Не поняли. Не приняли. Посмеялись, ну и пускай, в конце концов, Калькутта – она как женщина, не каждому откроется.

Но открывшись, уже не отпустит.

И, стоя у окна, я смотрю на асфальтовое море, на суету кораблей-машин, людей, которые в любой игре себя же и играют, я думаю о том, зачем я здесь. Прятаться или искать? Убегать или догонять?

Завершать однажды начатое?

Кто я?

– Скажите, вы считаете себя красивой? – Круглые очки офис-менеджера заслоняли взгляд, но Ирочка все равно его ощущала – колючий и презрительный. И вопрос этот. По какому праву ей такие вопросы задают? И почему при всем возмущении Ирочка не может промолчать.

Или нахамить?

– Нет, – отвечает она, подтягивая сумку. Сумка большая, баулом коричневым, с блестящими пряжками и серебряными бляшками, которые как рыба чешуя, только крупная. И бантики-плавники имеются, и шарф, кое-как привязанный за ручки, спускается на колени хвостом вуалехвоста.

Хвост вуалехвоста. Чушь какая.

– Итак, вы не считаете себя красивой, – с непонятным удовлетворением уточнила офис-менеджер, тыкая острым карандашиком в Ирочкину анкету.

– Не считаю.

И не считала никогда. Наверное, это было ее, Ирочкиным, проклятием, хотя Алленка говорила, что дело не в проклятии, а в комплексах, от которых Ирочке нужно, ну просто-таки необходимо избавляться. И что если немножко поработать над собой...

Ирочка работала всю жизнь. Ирочка рано поняла, что она не такая, как другие дети, нет, не уродка, но... но откуда это разочарование на мамином лице? И на бабушкином? И на отцовском? И это выражение заразно: оно поселялось на лице воспитательницы из детского сада, и первой учительницы, и второй тоже, и потом всех учителей, подруг, знакомых...

Позже Ирочка поняла, что дело совсем не в ней, а в обманутых ожиданиях. Ждали красавицу, а родилась она...

– Значит, не считаете... знаете, это ведь очень хорошо. Это просто замечательно! – Офис-менеджер расцвела улыбкой, за которую Ирочка ее тихо возненавидела. – Кажется, у нас есть подходящее место, вы подходите просто идеально...

Она пела, она рассказывала сказку, отчаянно привирая – все врут, Ирочка это давно усвоила, – и даже сама увлеклась. А в конце серенады последовал звонок, короткий разговор, результатом которого стала визитная карточка и требование явиться сегодня же.

Двадцать ноль-ноль, и ни минутой позже. Пунктуальность – одно из обязательных требований к кандидату. Второе после некрасивости.

Этот дом стоял на границе района. Выстроенный недавно, он был стар от рождения, и декоративная лепнина ползла по стенам не то уже морщинами, не то жестким кружевом на желтом камзоле брюзгливого старца. Дом пялился на Ирочку через монокли стеклопакетов и осуждающе качал пластиковыми листьями мертвых деревьев. Дом заговорил с ней сухим голосом консьержки и нехотя, наступая на горло собственным желанием, пустил внутрь.

Лифт. Движение. Остановка. Ковровая дорожка к единственной двери и насмешливое рыльце звонка.

Ирочка нажала кнопку, заранее решив, что в жизни не станет работать здесь.

– Вы опоздали на полторы минуты, – сказали ей из-за двери.

– Простите. Ваша консьержка потребовала паспорт и...

Зачем она оправдывается? Ведь собиралась уйти, так почему бы не сейчас? Хороший повод отступить.

Дверь открылась, и Ирочке велели:

– Проходите. Верхнюю одежду можете положить на кресло. Разуваться не надо. Прямо по коридору, потом налево.

За дверью никого не было. Это невозможно, но не было. Ирочка сдавленно хихикнула, выпросталась из тесного – все-таки следовало взять на размер больше – пальто, кинув его на изящную банкетку, прижала к груди сумочку, скользнув пальцами по шелку шарфика – это успокаивало, – и ступила в сумрачный коридор.

Вросшие в стену светильники, ниши и смутные тени картин, статуй, фотографий. Мягкий ковер крадет шаги, и собственное дыхание кажется слишком уж громким. А может, и не собственное? Вдруг это кто-то за спиной?

Ирочка обернулась.

Пусто. Жутко вокруг. И мысли нехорошие. А если он маньяк? Нет, в самом деле маньяк? Возьмет и убьет Ирочку и... и никому не будет дела, никто не станет трясти милицию, требуя справедливости и возмездия, наоборот, вздохнут с немалым облегчением – избавились от паршивой овцы.

Дверь Ирочка открывала, полностью смирившись с предстоящей смертью и решением принять ее достойно. Входила она с гордо поднятой головой, а потому зацепилась каблуком за ковер, пытаясь сохранить равновесие, взмахнула руками и столкнула что-то, с глухим звуком шлепнувшееся на пол.

– Вы ко всему еще и неуклюжи, – заметил тот же голос. – Впредь я бы попросил вас больше смотреть под ноги, а не по сторонам. У меня здесь много ценных вещей. И много хрупких вещей.

– Д-да, извините. – Ирочка подняла упавшую тарелку – к счастью серебряную, в ряби чеканки и оспинах окислов. – Я не хотела...

– Если бы я решил, что вы сделали это нарочно, я бы вас выгнал. Садитесь. Да, вон в то кресло. Не стесняйтесь, я вас не съем.

Еще одна насмешка, еще одно орудие пыток. Мягкое, проглотившее Ирочку, обнявшее подлокотниками, приподнявшее ноги так, что серая юбка, строгая юбка, поехала вверх, выставив костистые Ирочкины коленки и толстые ноги. И пиджак складками на животе собрался, верхняя пуговица оттопырилась, а кружевное жабо встопорщилось белым оперением.

– А вы и вправду некрасивы, – как ни в чем не бывало заметил хозяин кабинета.

Он разглядывал ее, сам оставаясь в тени, и взгляд – ох уж эти взгляды – скользил по ботинкам, по лодыжкам, поднимаясь к коленям, замирая на обтянутых паутиной колгот впадинах и буграх, потом полз выше, по расплывшимся на мяготи кресла бедрам. Перебирался на серую юбку, замер на складках пиджака, а голос поинтересовался:

– Вы, случайно, не беременны?

– Нет.

И взгляд пополз дальше, безразлично прыгнув через валы-жабо, коснулся голой кожи – Ирочка вновь осознала, что кожа у нее болезненно-желтоватая, а шея коротковатая, и лицо ее чрезмерно кругло, как любила выражаться бабушка. И на этом круглом лице совсем не к месту широкие брови и широкий же, утиным клювом, нос. И подбородок тоже широкий, и лоб, только при всей ширине – низкий, отчего лицо кажется сплюснутым.

– Пожалуй, вы мне подходите, – вынесли вердикт. – Вы достаточно некрасивы, чтобы не строить иллюзий.

И человек вышел из тени.

– У вас не появится глупой мысли соблазнить меня. Забеременеть. Выйти замуж.

– Я?

– Вы. Вы не станете забывать об обязанностях, потому что вдруг потянет сделать мне кофе или убратся в квартире ради проявления заботы, в которой я совершенно не нуждаюсь. Вы не станете расспрашивать о моих друзьях и моей семье. Вы не будете ждать поблажек только потому, что у вас красивые глаза.

– У меня?

– У вас некрасивые глаза, – отрезал он. – На редкость, скажу я вам, некрасивые. И вы об этом знаете.

– Вы хам! – Ирочка хотела было вскочить, но мягкое кресло держало крепко, насмехалось, заставляя елозить по скользкой коже, пытаясь выбраться из плена мебели.

– Я хам, – согласился работодатель. – И для вас будет лучше, если крепко усвоите этот факт. К слову, перестаньте ерзать, вы смешны.

Ирочка перестала. Ирочка одернула юбку, поклявшись, что в следующий раз придет в брюках... а будет следующий раз? Да ни за что! Она не станет работать на...

– Тимур Макарович, – представился он. – Можно Тимур, но без фамильярности.

Тимур. Не Аполлон Прекрасноликий, не Давид Великолепный, сотворенный рукою мастера, не даже Тимурленг, хотя и славен он был иными подвигами. Но Тимур.

Макарович.

Гроза девичьих сердец, неутоленная печаль зеркал, небось это лицо они отражают куда с большим удовольствием, чем Ирочкино, а потом долго хранят отражение, любясь чертами.

На испанца похож. Черный волос, черный глаз, бесов огонь, как бабушка бы сказала, непременно сопроводивши сказанное томным вздохом. А матушка добавила бы что-то этакое, об изысканности дорогих клинков... и отец бы признал, что Тимур – просто Тимур, но без фамильярности – достоин породниться с Арванди. И наверное, сам бы предложил ему руку Алены.

Ирочка внезапно поняла, что ничего не расскажет о Тимуре дома.

Пожалуй, этот вариант был удачен. Правда, Тимур до конца не решил, правильным ли было его решение, но в любом случае отступить поздно.

Девчонку жаль. Не из-за того, что ей предстоит, тут он постарается уберечь, но просто жаль. Некрасивенькая. И знает о некрасивости, и возится с нею как с любимым щенком, холит, лелеет, растит комплексы.

К счастью.

Или к несчастью, но дальше оставлять все как есть нельзя.

И Тимур, отвлекая себя от мыслей, заставил говорить. Условия – и взгляд девчушки становится настороженным. Зарплата – настороженность растет. Правильно, слишком все странно, но Тимур платит за свои странности и за чужое нелюбопытство.

– А... а простите, чем я, собственно, заниматься буду? – Она вцепилась в сумку совершенно жуткого вида, из рыжей искусственной кожи, покрытой ко всему прочему лаком и украшенной латунными монетками, с ручек шлейфом свисал печальный шарф, и в его складках терялись руки будущей... а вот странно, кем она будет? Секретарша? Подруга? Помощница? Да, именно, помощница. Она и сама не представляет, как должна помочь.

Стоп. Дальше запретная зона. Ни слова, ни мысли... попробуйте-ка пять минут не думать о белом голубоглазом медведе. Тимур привычно попробовал, зацепившись рукой и сознанием за ошейник Зверя, обнявший запястье. Шастелево наследство помогло: медведь послушно отступил в туман сознания, презрительно хмыкнув напоследок.

– П-простите, – она заикалась, что добавляло образу полноты, а Тимуру уверенности. – С вами все в порядке?

– В полном. Что касается ваших обязанностей, то я сполна их перечислил. У вас с памятью плохо?

– Нет, – вспыхнула моментально. Таких легко поддевать, у них куда ни ткни – всюду слабые места.

– Вот и замечательно, тогда я жду вас завтра. И постарайтесь не опаздывать, консержку я предупреджу.

– До свидания. – Она-таки выбралась из кресла, под взглядом – Тимур надеялся, что взгляд был достаточно насмешлив, – неловко одернула юбку, непослушными пальцами пропихнула пуговицу в петлю и поправила жабо воротника.

Надо будет сказать, что ей не идет. Шея и так короткая, а с этими пелеринами... на грифа похожа.

– Я пойду? – спросила она.

– Идите, – разрешил Тимур, мысленно добавив: «Только возвращайся. Пожалуйста».

Вернется, обязательно вернется. И освободит его.

Когда она добралась до входной двери и на пульте загорелась красная лампочка – осторожно, хозяин, кто-то собирается выбраться из дому, – Тимур не удержался, нажал на кнопку связи и проговорил:

– Возьми на вахте такси. И завтра, да и вообще, не срезай путь через Калькутту.

Она, наверное, удивится, но послушает совета. Такие всегда слушают чужие советы. И это хорошо... Тимур вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь, немного постоял в коридоре, собираясь с мыслями и силами – встреча их требует.

Он уже был здесь, таился в тиши комнаты. И вроде бы негде спрятаться, но прячется, сливаясь с чернотой, только слышно, как дышит и ворочается – Зверь на цепи, на жеводанском ошейнике. И Тимур собирается выпустить, потому что, если не сделать этого – Зверь вырвется сам.

– Ты нарочно выбрал такую? – Марат первым начал разговор, впрочем, как всегда.

– Да. Тебе понравилось?

– Сам знаешь. Ну да ничего, как там говорится? Стерпится – слюбится.

Смех. Он нарочно, он знает, что Тима корежит от этого смеха.

– Я надеюсь, ты помнишь о нашем договоре?

Смех оборвался, ошейник Зверя натянулся, грозя порваться от старости и беспомощности – не помогает он уже давно. Так стоит ли цепляться за эту надежду? Шастелю она не помогла, и Шастелеву не поможет. Ошейник – сказка, игра, в жизни все иначе. Наверное.

– Помню, Тимур, помню. И не стоит нервничать, я прекрасно понимаю, что девчонку трогать нельзя. Я только не понимаю, зачем она тебе? Ты и вправду надеешься, что будешь следить за мной? Не разочаровывай, Тимур, если я пойму, что ты собираешься меня обмануть...

– Нет.

– Вот и замечательно, – голос стал мягким, ласковым. – Ты умный мальчик, Тимур... и оставайся таким.

– Угрожаешь?

– Предупреждаю.

Я много думал о том, стоит ли предавать бумаге сию тягостную историю, каковая, быть может, навлечет позор не только на меня и несчастного брата моего, но и на нашего отца, человека, которого я долгие годы полагал в высшей мере достойным. Помимо прочего, рассказ мой способен вновь раздуть пламя вражды, утопленное было кровью, и пробудить к жизни позабытую ненависть, кою могут испытывать лишь те, кто подобен друг другу большие, нежели того желает.

Но меж тем тягостные воспоминания и глубочайшее чувство вины терзали меня все эти годы, изводя разум во сне и наяву. И вот теперь я, стоя на пороге могилы, ослабевший и отчаявшийся, готов поддаться, ибо верю, что исповедь и чистосердечное раскаяние спасут мою бессмертную душу. А молитва и те пятнадцать ливров, пожертвованные мною аббатству Шаз, дабы оное включило имя бедного Антуана в список для поминовения, облегчат страдания его в мире вечном. И слабая надежда, что в час Страшного суда Спаситель наш милосердный, внемля голосам людей, помилует грешную душу Антуана, держит меня в этой жизни.

Однако же, отвлекишись, я утратил нить мысли, каковая связала бы события давнего прошлого и позволила излить их в связный, смею уповать, рассказ.

В то злосчастное лето, в которое начался кровавый счет жертв Зверя, я был еще молод, горяч, своеволен и, по словам отца моего, Жана Шастеля, никчем. Я давно утратил отцовское благословение и так же, как некогда своим появлением на свет внушил надежды, ныне являл собой лишь разочарованье.

Каюсь, что в то время меня более занимали собственные проблемы, каковые казались мне неразрешимыми, а потому я отчаянно топил их в вине и женской ласке, благо и то, и другое можно было сыскать безо всякого труда. И пусть я не видел ничего дурного в своих увлечениях, находя в них единственную отдушину, но по прежней привычке скрывал их от отца, не без оснований полагая, что он, будучи человеком весьма набожным, не одобрит. А то и вовсе разгневется, и поскольку мне случалось не единожды быть свидетелем безудержного гнева, вызвать каковой могла самая простая, пустяковая причина, я вовсе не желал давать действительных поводов.

Но прихожу к мысли, что рассказ следует начать задолго до проклятого лета 1764 года, ибо оно и все последующие печальные годы, омраченные знаком Зверя, суть следствие. Сама история началась много, много раньше.

Итак, отец наш, Жан Шастель, истинный католик крепкой веры, был человеком пусть и лишенным титула, однако происхождения благородного, о чем никогда не забывал, и умеренного достатка, который являлся следствием отцовской сноровки в ведении дел и благосклонности, что испытывал к нашей семье граф де Моранжа. Отец же платил покровителю и благодетелю верностью, истинные причины каковой в то время мне были неведомы.

Внешность отца была благообразна и свидетельствовала о великой внутренней силе, каковая находила отражение в крепости телесной. Поговаривали, что по молодости он был

буен и неводержан в желаниях, однако же годы и жизнь смирили бурление страстей, но не погасили пламя в очах его. В гневе, как я уже упоминал, он был свиреп и не властен над собою, о чем, случалось, после жалел, хотя и не пытался как-либо исправить содеянное.

Мать моя, Анна, напротив, отличалась характером тихим и робким, она не смела перечить отцу и тихо угасала, пока в один печальный день не покинула сию юдоль скорби. Тогда я был вне себя от горя, теперь же полагаю, что Господь милостиво избавил ее от всех бед, которые посыпались на нашу семью, ведая, что сей светлый разум и доброе сердце не выдержат тягот бытия.

Ах, матушка, ежели ты у Престола Его, как и подобает истинной святой – а я уверен, что более благочестивой женщины не сыскалось бы во всем Лангедоке, а то и во Франции, – замолви слово за сына твоего, Антуана, за мужа Жана и за меня, Пьера, не оправдавшего надежд и чаяний.

И да смилостивятся над нами и Отец, и Сын, и Пресвятая Дева.

Господь благословил матушку нашу девятерыми детьми, однако по причине слабого здоровья все они, кроме меня и моего брата, покинув материнскую утробу, столь же легко покидали и сей мир. И снова теперь мне видится в печалах тех промысел Божий, ибо как знать, на скольких бы еще пало проклятье безумия?

Однако, возвращаясь к рассказу. Он был славным юношей, наш Антуан. Открытый, незлобивый, чудесным образом соединивший в себе свет и тихое очарование нашей матери с отцовской статью да упрямством. Сравнивая себя с ним, я снова и снова убеждался, что менее силен и ловок, напрочь лишен обаяния и где-то, против воли даже, мрачен не в меру. Мой разум по-крестьянски медлителен и тяжеловесен, и любая мысль в нем суть плод многих усилий. Я, пусть и рожденный первым, во всем ином оставался вторым. И весьма часто в глазах отца, устремленных на Антуана, видел подтверждение собственных выводов, мучительных, но верных: Антуан должен продолжать род Шастелей. А мне, освобождая путь брату, надлежит удалиться от тягот мира и провести дальнейшую жизнь свою в стенах аббатства. Но я был слишком труслив, чтобы и вправду осмелиться на подобное. Антуан же был слишком добр, чтобы требовать этой жертвы. И доброта его еще больше склоняла меня к мыслям о собственном ничтожестве.

О как мне сейчас стыдно за ту радость, которую я испытал, узнав, что Антуан записался во флот. Я думал не о долгом расставании с любимым братом, не о тяготах, лишениях и опасностях, что станут на пути его. Я думал о себе и о том, что теперь он, совершенный во всем, будет вдали. Я тщетно уповал, что без Антуана наш отец, наконец, обратит свой взор в мою сторону. И желанию моему было суждено сбыться.

Я не хочу описывать те давние обиды и собственные мои мучения, ибо справедливо полагаю: они интересны лишь мне. Я скажу лишь, что с отъездом Антуана жизнь моя, и без того не слишком радостная, стала и вовсе невыносимой. Когда же отец узнал о величайшем несчастье, что, подобно грому небесному, обрушилось на нашу семью, он обезумел. Неистовый, извергал он проклятья, призывая гнев Божий на мою несчастную голову, обвиняя в слабости и никчемности, требуя у небес справедливости, чтобы вернули они Антуана, а забрали меня.

– Ты! Ты, упрямец, заставил уйти его из дому! Ты, проклятый Каин, виновен в гибели брата! – кричал он, пугая слуг и потрясая кулаками, грозя не то еще мне, не то самому Господу Богу. А я молчал, не смея перечить.

И молчание это длилось вечность, пока в доме нашем не появилась скудная надежда: известие, что Антуан не убит берберийскими пиратами, как нам было отписано прежде, но, вероятно, лишь ранен и захвачен в плен. А значит, они, нечестивые и жадные до золота, обратятся за выкупом.

Но дни шли. В молитве по утрам, в проклятиях и обвинениях по вечерам. В разрыве помолвки с милой моей Катариной, которая, оскорбленная и опозоренная таким поступком,

справедливо отказала мне от дома, а в скорости обручилась с другим. И разве мог я винить ее? Как не мог винить и отца, сломленного несчастьем.

– Ах, когда бы мог я изменить все, – приговаривал он, поворачиваясь ко мне спиной. – Когда бы мог...

И я соглашался. Я сам искал перемен и однажды сказал, что уйду в монастырь, благо аббат, понимая все тонкости моего положения, согласился принять меня под благословенный кров Сен-Прива. О, какую бурю гнева вызвало это известие! Отец, не памятуя себя от ярости, схватился за плетень:

– Ты, ничтожество! – кричал он, обрушивая удар за ударом на мою спину. – Теперь ты хочешь бежать? Предавши брата, предать и весь род? Нет, не бывает этому!

Утомившись, он упал на стул и, закрыв лицо руками, зарыдал, оплакивая и себя, и меня, и несчастного Антуана.

Если б знать, сколь горя принесет его возвращение.

Признаюсь, что я не сразу заметил перемены, произошедшие с отцом, ибо был погружен с головой в собственные горести, залечивая самолюбие и разбитое сердце вином, о чем, верно, упоминал. Однако же в один из вечеров, привычно тягостных и одобренных одиночеством, в поместье случился гость. Был он высок, худ и костляв, смугловат и с виду мрачен. Одежда его, добротная, но без лишней роскоши, явно была неудобна ему, но он стойко терпел неудобства.

– Пьер, – голос отца, стоявшего за спиной гостя, дрожал от волнения и слез, каковые блестели в темных глазах, хоть отец и пытался всячески сокрыть эту слабость. – Обними же брата своего, Пьер!

И тогда откровение снизошло и открыло мне глаза. Антуан! Передо мной истощенный, истерзанный болезнями стоял Антуан. Но, Боже милосердный, как он изменился!

Мы обнялись, отворачивая друг от друга лица, дабы скрыть неловкость и волнение. Его руки – тонкие, нежные руки нашего Антуана – стали грубы, словно у лесоруба. Его губы, некогда способные украсть поцелуй у самой целомудренной девицы, обрели пугающую жесткость. Его лицо, лишившись прежней привлекательности, было страшно, и стыд, великий стыд, обжыл мое сердце.

– Прости меня, брат мой, – только и сумел промолвить я, сжимая Антуана в объятьях. Он лишь попытался улыбнуться – о, это была тень былой улыбки – и осторожно высвободился. Неужели и он винит меня?

– За стол, за стол! – воскликнул отец, завладевая рукою любимого сына, и я впервые не испытывал ревности. Я впервые был счастлив, ведь Антуан вернулся.

В тот вечер, пожалуй, самый замечательный из вечеров, случавшихся со мной за прошедшие годы, мы веселились. Точнее, я и отец говорили наперебой, спеша рассказать обо всем, происходившем в округе. Антуан слушал. Антуан смотрел на меня и словно бы не видел. Смотрел на отца, и я готов был поклясться бессмертной душой своей, что он не видел и его.

Он ел то, что клали ему на блюдо. Он пил то, что лили в кубок. Он не произнес ни слова, и в том мне виделся отголосок страданий, выпавших на долю бедного брата моего, а в возвращении Антуана – знак великого благословения и надежды.

Я, исполненный радости, лелеял мысль о том, что покой Жеводана, добрая еда и питье, а также забота, каковой мы непременно окружим Антуана, в скором времени излечат и тело, и разум. Ведь это же Антуан, и я сделаю все, чтобы он стал прежним!

– Пойдем, – наконец, велел отец, поднимаясь из-за стола, и Антуан встал следом. При этом он сгорбился, поджал локти и опустил голову, точно чувствовал себя виноватым в чем-то и предвидел наказание – мое сердце вновь резануло болью, ибо я представил, сколько всего должно было бы случиться, чтобы сломить гордый дух моего брата. Но отец ласково обнял его и повторил:

– Идем. Пора отдыхать.

А глянув на меня, строго велел:

– Не смей и думать о том, чтобы его беспокоить!

Что ж, тогда эти слова показались мне отголоском отцовского страха и недоверия – ведь он полагал, что я по-прежнему жажду занять место Антуана в его сердце. Истинные же причины стали ясны много позже.

Я люблю Калькутту, я помню ее улицы и запахи. Вот из приоткрытой двери тянет свежим хлебом и сытным дымом сигарок тети Циля.

– Куда? Куда, а, чтоб тебя лихо задрало... – зычный голос ее выплескивается на улицу вместе с ведром помоев. И сонный дворовый кот Васька с диким мявом отскакивает, гнет спину и дыбит шерсть, чтобы потом, после, долго танцевать на камнях, отряхивая лапы и вылизываясь.

Иду дальше. Я снова иду по Калькутте, я возвращаюсь в прошлое, пусть врут, что это невозможно.

Для других – не для меня.

Угловой дом и низкий балкончик со ржавой решеткой, сквозь которую просовывает полость кресло-качалка. Брошенная газета и серый стетсон Ленки-бича. Краденый, хотя врет, что батя из загранки привез, но я-то знаю, что бати у Ленки нету.

Общая беда, обыкновенная.

А вот подворотня, в которой однажды, не сдержавшись, били Йолю. Не за еврейство – он слишком не похож на еврея, наш Йоэль Нахумович, чтобы было смешно, – а за скрипку и Таньку из седьмого дома, что скрипку слушала и давала себя провожать.

А вот несется, подхватив полы, Йолина мама, тетя Циля. Уж она-то на еврейку похожа, и от этого ее сходства снова не смешно шутить.

– Зачем вы его бьете? Йоличка, мальчик мой! Эта шалава тебя не доведет до добра! Йоличка ... – Мокрое полотенце ходит по нашим спинам, рукам и лицам. Полотенце пахнет свежим тестом и рыбой, и мы нарочно медлим разбежаться, хотя уже и не пинаем Йолю.

Злость ушла.

Он ведь друг, а между друзьями всякое случается.

Танька, глядевшая на побоище с высоты своего третьего этажа, степенно покидает балкон. Прощай, Дульсинея, окончен турнир.

Кажется, что-то не так, что-то ускользает, неуловимое, но важное, и улицы разбойной Калькутты вдруг выталкивают меня. Шалишь, родная, я пройду сквозь запреты твои. Я право имею, ибо не тварь...

– ...в тот вечер Юля возвращалась домой поздно, – читала бабушка из газеты. Газету она держала на весу, широко растопыривши руки, но притом умудрялась не выглядеть нелепо.

Ирочка вздохнула, представив себя на бабушкином месте, и от огорчения – воображение выдало препаскуднейшую картинку – потянулась за плюшкой.

– По-моему, тебе хватит, – заметила мама. – В тебе и так лишнего весу многовато...

Ну и пусть, подумаешь. Какая разница, быть толстой уродиной или тощей?

– ...и решила срезать путь через парк, что делала неоднократно, – продолжила чтение бабушка, прокомментировав: – Дура.

Мама кивнула, папа промолчал по обычной своей привычке, а Аленка и вовсе не слушала, сама увлеченная книгой.

– Тело ее нашел дворник, у которого при виде столь ужасающей картины случился инфаркт.

– Мама, – сказала мама, строго глядя на бабушку, – зачем ты читаешь это?

Ирочка мысленно присоединилась к вопросу.

– Интересно. Ну и к тому же, где ты увидишь столь изысканный пример косноязычия? Ты только послушай, как талантливо они коверкают язык. «На теле потерпевшей насчиталось более трех десятков ран, предположительно от собачьих клыков».

– Мерзость какая!

– А я работу нашла, – выпалила Ирочка, сразу пожалев, что привлекла внимание. Ну вот, Аленка отложила книгу, бабушка – газету, мама – тонкий венский крендель. – Работу нашла. Сегодня. Завтра приступаю. Вот.

– Молодец, – бросил небрежную похвалу папа, и Ирочка зарделась, деля пополам стыд и счастье. Ее редко хвалили. Хотя и ругали тоже редко.

– И кем ты будешь работать? – С шелестом сложила крылья газета.

– Секретарем.

– Господи, Сережа, ну когда это, в конце концов, прекратится! – маменькин голос не пересек недозволенную границу, за которой повышенный тон переходил в истерику, он вообще изменился лишь на самую малость, и малости этой хватило, чтобы Ирочка сжалась.

Зря сказала.

– Она будет работать секретаршей! Моя дочь – и секретарша! Твоя дочь, Сергей!

– Это недопустимо, – согласилась бабушка. – Совершенно недопустимо...

Какие же они все снобы. Подобная мысль приходила Ирочке в голову с завидной регулярностью, но всякий раз она от мысли отказывалась, объясняя ее то собственным несовершенством, то завистью, каковую испытывает к семье.

– Но я ведь работала уже...

– Она работала! – Маменька всплеснула руками и привычно схватила за голову. – У меня мигрень начинается.

– Ты работала на меня, – наконец вступил в разговор отец. – Это было нормально. Сейчас ты работаешь на какого-то там типа, который...

Он мог говорить долго, они все любили говорить о том, что Арванди – старинный род, и не Ирочке поведением своим пятнать славное прошлое. Хватит! Она уже посмела родиться некрасивой и тем нанесла непоправимый ущерб будущим поколениям Арванди. Ведь известно, что все Арванди – прекрасны.

Прекрасна бабушка в свои чуть за шестьдесят. Осенняя паутина морщин, обласканный прощальным солнцем мрамор кожи, великолепие черт, над каковыми не властно время.

Прекрасна мама в свои чуть за сорок. Ни морщин, ни иных признаков старения, застывшее совершенство и холод драгоценного камня.

Прекрасен отец – сухая строгость черно-белых дагеротипов, выверенные линии лба, носа, губ, подбородка. Выверенные движения, выверенные слова, произнесенные выверенным тоном, в котором сейчас лишь презрение.

Как же, дочь Арванди – и секретарша...

– А я все равно буду работать! – Ирочка почувствовала, как закипает в груди обида, готовая прорваться потоками слез. Она вскочила, прижала ладони к глазам – только не здесь, плачущая, она жалка и уродлива больше обычного. – Я буду, слышите?!

– По-моему, – заметила бабушка, снова разворачивая газету, – девочку следует показать врачу, у нее явно не в порядке с нервами.

– А работа? – Мама не желала отступить.

– А что работа? Пускай. И я когда-то трудилась нянечкой...

Ирочка не стала слушать дальше, она выскочила из комнаты, потом из квартиры и, как была, босиком, прошлепала на третий этаж. Здесь, в квартире номер тридцать три, жил единственный человек, которому было плевать, как она, Ирочка, выглядит. И за это Ирочка его любила.

А он, не скрывая, любил Аленку.

– Привет, – Леха ее появлению не удивился, но обрадовался. – Заходи, я тут чай пью. Будешь?

– С сушками?

– Ага.

– Тогда буду.

Ирочка «была» бы в любом случае, уже хотя бы для того, чтобы этим чаепитием смыть мерзкий осадок от того, прошлого. Рядом с Лехой спокойно, рядом с Лехой уютно, рядом с Лехой можно забыть о собственной некрасивости, потому что они с Лехой одной крови.

У него длинный хрящеватый нос, слегка свернутый набок – результат падения с качелей. И лохматые брови, сросшиеся над переносицей и скрывающие еще один шрам – уже от столкновения со стеной. На левой Лехиной щеке живет родимое пятно, на правой – след от ожога.

Леха носит старческие байковые рубашки, заправляя их в джинсы так, что рубашки топорщатся пузырями и узлами. А рукава он закатывает, и худющие, в рыжих волосах и синих венах руки нелепо торчат из мятой ткани.

– Опять, да? – спросил Леха, разбавляя кипятком бледную заварку.

– Опять, – согласилась Ирочка и замолчала – говорить с Лехой было совершенно не о чем – ну не о его же любви к Алёнке в самом-то деле! Зато молчать получалось замечательно, ненапряжно. – Лешка, – наконец, когда бледной, пахнущей сеном и отчего-то олифой жидкости осталось на самом доньшке, у Ирочки созрел вопрос. – Лешка, что бы ты сказал о человеке, который бы нанял другого человека... ну вроде секретарши, чтобы он... она следила за улицей?

Лехин нос удивленно дернулся.

– Ну вот просто за улицей. Сидела и смотрела в окошко, записывала, какие машины проезжают, во сколько, кто выходит, кто уходит...

– Так не бывает, – весомо заметил Лешка, засовывая в рот сразу несколько сушек. Захрустел.

– Бывает.

– Тогда я бы подумал, что этот, ну твой наниматель, псих.

– А еще почту разбирать. Газеты. И вырезать заметки о нападении собак и маньяков. Знаешь, по-моему, он сам маньяк... – Ирочка постепенно укреплялась в этой своей догадке. – И еще хам.

– Не ходи, – предложил Леха. – Найдешь другую работу. Ну хочешь, можешь мне помогать, мне тоже секретарша нужна, только я тебе платить не смогу, зато комнату дам. Бабкину. Там только убраться надо.

– Не пойду, – согласилась Ирочка, твердо решив никуда и ни за что не ходить. Она ведь не сумасшедшая, в самом-то деле, и потому точно не станет работать на сумасшедшего.

Но утром она, проклиная себя одновременно за слабость и нерасторопность, выбегала из подъезда. Пожалуй, Ирочка и сама не могла бы ответить, бежала ли она от совершенства собственной семьи или же бежала к Тимуру, который Маратович, но можно без отчества, главное, чтобы без фамильярности.

Тимур мучил дверной звонок и себя заодно, терзался надеждой, что звонит зря, дверь не откроют, а если и откроют, то скажут, что Пашка здесь больше не живет.

Переехал. Спился. Повесился. Убрался ко всем чертям.

Но нет, черти Пашкой побрезговали: несло от него, как из бочки, старой, расползающейся бочки, сквозь доски которой просачивается не то смола, не то коньяк, не то вообще какая-нибудь трудноописуемая гадость. Пашка постарел. Пашка обрюзг, раздавшись животом и задницей. Первый переваливался через ремень старых штанов, обвисая бледным бурдюком плоти, вторая гордо топорщилась, грозясь разорвать штаны по шву.

– Че надо? – выдохнул Пашка перегаром и в следующую секунду узнал. – Ты? И вправду ты? Сволочь ты этакая... Сколько лет, сколько зим! Заходи! Господи, ну я думал все, думал, сдох ты в большом мире, или сам, или душой. А ты не сдох! Мать, сюда иди! Поглянь, какие гости!

В узкий коридор выкатилась худенькая серая женщина, наспех запахивающая халат.

– Заходи, заходи! Мать, иди глянь, кто пришел!

Он вопил и хватался руками за пиджак, прихлопывая, пристукивая, цокая языком от удивления и пуская слюни от счастья. Вырваться бы отсюда. Сбежать.

Марат не позволит. Марат велел встретиться.

Марат велел притвориться, сыграть в старую игру.

– В залу, в залу иди. – Пашка пританцовывал, и живот его колыхался в такт движениям. – В зале и сядем.

– Я вот. Ко встрече. – Тимур, ощущая собственную беспомощность, протянул пакет, в котором позвякивали бутылки. – Там и конфеты есть.

Блеклые глаза безымянной женщины в халате тускло блеснули, пакет она приняла с королевским достоинством, с оным же достоинством и удалилась.

– Это подруга моя, – шепнул Пашка, подмигивая.

– Жена! – донеслось возмущенное.

– Гражданская! Только гражданская! Представляешь, а я уже и забыл про тебя. Нет, ну не то чтобы совсем забыл, конечно, куда тут совсем. Я и на кладбище бываю, ты не думай, приглядываю за ней. Господи ты боже мой! Ты не поверишь, сколько всего тут случилось!

В зале пыльно. Не грязно, но именно пыльно, и пыль щекочет ноздри, подбивая на чихание, и держаться приходится из последних сил, потому что чихнуть – признать слабость. Идиотская мысль, но за нее можно держаться, и тогда это место не сумеет полностью подчинить себе Тимура.

А интересно, девчонка явилась? Или струсила? Нет, не могла она трусить, не имела права! От нее, в конце концов, жизнь дальнейшая Тимурова зависит.

– Ну ты садись, садись. – Пашка с натугой оттянул кресло, которое сопротивлялось и цеплялось ножками за мутный паркет, оставляя на дереве глубокие царапины. – Садись и рассказывай. Как ты? Чем занимаешься?

– Финансы.

Пашка закатил глаза.

– Финансы... а я вот картины рисую. Я талант в себе открыл. Что, не думали? Думали, Пашка только и может, что в моторах колупаться. А я нет! Я художник! Гений!

– Гений, – подтвердила гражданская жена, выставляя на стол ряд граненых стаканов и принесенные Тимуром бутылки. – Посмертно станешь.

– А иди ты! – беззлобно замахнулся Пашка. – Она сердится. Думает, что я налево шастаю. А я ж не налево, я так, для вдохновения. Музу ищу!

Пашка и муза? Пашка и живопись? Пашка и руки в мазуте по локоть, сигарка пережеванная на губе, кривые зубы и портвешок во фляге, а фляга – в голенище дедова сапога. Пашка презрительный к «интеллихентам». И вдруг картины.

– Пойдем, пойдем. – Он снова вцепился, потянул за собой в крайнюю комнатку, где когда-то – Тимур судорожно попытался вытолкнуть воспоминание – стояла швейная машинка ножного привода и хмурая, вечно озабоченная Пашкина мама тянула под иглою ткань. Машинка вот она, осталась, дремлет под белым чехлом. А вон и коробка с нитками на подоконнике, и другая, с пуговицами.

И тут же, повернувшись крашеными лицами к стенам, – картины. Много картин.

– Смотри, смотри, – Пашка суетливо мечется, выволакивая то одну, то другую, приподнимая, подвигая к самому лицу Тимура, так, что в нос шибает слабой вонью растворителя, и тут же, прежде чем удастся рассмотреть что-либо в суете из пятен, прячет.

– Да погоди ты! – не выдержал Тимур, перехватывая очередное творение. – Дай глянуть.

И Пашка расплылся в счастливой улыбке. Неужели... ну да, кому интересны его творения? Не серой же гражданской жене, что унылым видом своим протестует против наличия муз.

А он не так и беспомощен. Нет, в живописи Тимур понимал мало, как и в музыке, как и во многом другом, но... по синему-синему небу – и как вышло нарисовать таким ярким? – летели одуванчики. Желтые и белые, белые и желтые. Солнечный ветер для сказочных парусов.

– Ты... ты и вправду талантлив. – Тимур не без сожаления отдал картину.

– А... а хочешь подарю?

– Хочу.

– Нет. – Пашка вдруг отнял картину, спрятав среди других. – Не эту. Я тебе другую готовил. Я не знал, что ты появишься, но... погоди, сейчас... она тут... я по памяти, и потому не очень похоже, но...

Тимур закрыл глаза, он знал, что именно увидит на картине, и не желал видеть.

Проклятье!

– Вот. – В ладони ткнулась жесткая рама, не гладкая, как предыдущая, но самодельная, занозистая. – Смотри.

И Тимур подчинился. Белое поле, белое небо, смутные тени домов в отдалении, и черный зверь на переднем плане. Собака? Волк? Нечто третье? Зверь скалится, но не рыча – насмехаясь.

Смотрите, люди. Я вас не боюсь.

– Я... спасибо. Я пойду. Я должен идти. Я... извини.

Пашка ничего не ответил. Догадался? Или... нет, никто не знает и знать не может, иначе...

На черной шерсти зверя выделялась тонкая серая ленточка ошейника, который казался нелепым самым фактом своего существования. Откуда Пашка знает? Он не может! Ошейник появился позже, слишком поздно, пожалуй. Но на всякий случай Тимур дернул рукав, прикрывая серый шнурок на запястье.

– Это Вожак. Узнал, да? Помнишь, как мы на речку ходили? – слабо оправдывался Пашка, прижимая картинку к брюху. – Я думал, тебе приятно будет... я думал... я...

Слушать Тимур не стал, он молча вышел из комнаты, потом из квартиры, спустился вниз и у подъезда столкнулся с Маратом.

– Ну что, повидался? – поинтересовался тот. – А ты трус. И слабак.

– Я не хотел возвращаться.

– А я хотел. – Марат не собирался слушать оправданий, он вообще слушал, лишь когда дело касалось его. – Я хотел, чтобы ты, наконец, перестал жевать сопли и стал мужиком. Давай, поднимайся в квартиру.

– Зачем?

– Посидишь со старым другом, поговоришь о прошлом, выпьешь.

– Это не мой друг! Это твой! Ты и иди!

– Общий, Тимка, общий... у нас ведь столько общего здесь. Так что прекращай ныть и возвращайся в квартиру. Накатите слегка, а когда он расслабится,пустишь меня и можешь быть свободен.

– Пашка ничего не знает! – протестовать бесполезно, Марат все равно сделает по-своему, но и молчать Тимур не мог. Он должен хотя бы попытаться. В очередной раз. И в очередной же – неудачно. – Пашка просто... просто ни при чем!

– Не ори, на нас внимание обращают. – Марат подмигнул старушке и любезно приоткрыл дверь. – Во-первых, ты не можешь точно знать, при чем он или ни при чем. Во-вторых, явно при чем. Ты же видел картину? Он догадывается. Он давным-давно обо всем догадывается, он просто ждет подходящего случая...

И Тимур послушно поднялся в квартиру, снова нажал на звонок и снова понадеялся, что не откроют, и снова открыли.

– А... вернулся... заходи. Я знал, что ты вернешься... я знал. – Пашка уже успел остаканиться, и выпитый коньяк горячил его кровь. – Ты не мог не вернуться. Тебе интересно, какие

еще я картины пишу. А я скажу – разные. Разные-всякие и интересные... и Танька есть. И Йольчик... смешно будет, если и он вернется, правда? Или ты знаешь, что не вернется? Но не слушай меня, проходи.

В комнату. К столу, у которого подремывала безымянная Пашкина супруга. К пыли и спиртному в граненых стаканах. К прошлому.

– Давай выпьем, что ли? – предложил Тимур. – За то, что было.

– За тех, кто был, – поправил Пашка и сунул стакан. – Только чур до дна! Я знаю, что ты ее любил. Все любили, но ты – особенно! И скажи вот здесь, глядя мне в глаза, скажи, что ты не виноват!

– Не виноват, – совершенно искренне ответил Тимур. – Я никого не убивал!

Спустя полчаса он покинул квартиру, оставив дверь открытой. Хозяйка спали.

Воспоминания разбредили старые раны, растревожили душу и переполнили сердечную мышцу ликвором, сдавливая грудь. Мой врач, приглашенный дражайшей супругой, женищиной всяческих достоинств, в каковые, однако, не входит упрямый норов ее, настоятельно рекомендовал избегать волнений. Однако же я не могу бросить мои записи.

Напротив, теперь я каждую минуту думаю о них и о событиях, начавшихся в лето 1763 года, в провинции Жеводан, где я, Пьер Шастель, пребывал вместе с отцом и милостью Господа возвращенным братом Антуаном.

То лето было спокойным, ничто не предвещало грядущих бед и гнева Божия, каковой обрушится на земли сии спустя всего лишь год, более того, оно цвело и благоухало, подобно тому, как радостями и надеждами расцветала душа моя.

Мой брат, мой дорогой Антуан, был жив.

Однако следует упомянуть, что все-таки имелись некоторые странности, на каковые, оглядываясь назад, я не мог не обратить внимания.

Так, Антуан поселился в хижине на горе Мон-Муше, и отец строго-настрого запретил мне беспокоить его, более того, он раз за разом, день ото дня твердил о том, что Антуану необходим покой, что разум его, поврежденный, требует куда больше времени для исцеления, нежели тело. Что люди с их любопытством и равнодушием причинят боль.

Он имел в виду не всех людей, упрямый Жан Шастель, он имел в виду меня, ибо все еще полагал виновным во всех бедах, постигших Антуана. Что ж, ради мира и тишины в доме, ради разговоров, до которых отец стал снисходить, я готов был терпеть.

Но, несмотря на все усилия отца, слух о возвращении Антуана разошелся по округе, словно бы не слуги, но сами стремительные ласточки, крикливые сойки да любопытные сороки разносили его по домам, обильно сдобривая домыслами и извращая.

И вот, оказавшись однажды в Шазе, после мессы, которую отец – случай воистину небывалый – пропустил, решив остаться дома, я оказался окруженным людьми, знакомыми и дорогими, любопытными и жаждавшими знать.

– Я слышала, – моя и уже не моя Катарина первой решилась обратиться с вопросом, она выглядела горделивой, но в позе, в положении рук, в манере речи мне виделись отголоски обиды, – что его страшно изуродовали...

– Ах, Пьер, нам так жаль, это воистину ужасно, – вздыхали сестры Аннет и Жаннетт, переглядываясь друг с дружкой. – Но если вдруг вам потребуется помощь, женская рука... внимание...

Перезрелые красавицы, утонченные, утомленные собственной красотой, взглядами дарили надежды и обещания, принять которые я не был готов.

– Пьер, – сухо скрежетала старуха Марцель. – Когда же ваш отец соизволит...

– Никогда! – Отец, выслушав мой пересказ, захлопнул Библию. – Никогда, слышишь, ноги их не будет в нашем доме! Твари... любопытные твари! И ты им под стать. Глупец!

Я растерялся. Признаться, предложение старой ведьмы показалось мне если не привлекательным, то, уж во всяком случае, не лишенным разумности. Антуана следует вернуть в общество, ведь спокойная жизнь его, нарушенная берберийцами, наладится, так стоит ли оттягивать неизбежное? И как знать, вдруг да празднество, устроенное в честь него, пробудит иные, добрые воспоминания?

На мои рассуждения отец ответил пощечиной.

– Крепкий телом, но убогий разумом. Не он. Ты! О господи, сколько раз! Сколько раз я повторял тебе, что ему нужен покой! А значит, никаких старых дур, жадных до рассказов. Никаких развратниц, готовых задрать юбку, только чтобы узнать, что они, благородные, лучше берберийских шлюх... блудницы вавилонские! И ты... ты... ты не должен рассказывать о том, что происходит здесь.

Я и не рассказывал. Как я мог говорить, если ничего не происходило? День шел за днем, и снова были молчаливые ужины вдвоем, изредка – троим, и тогда я видел, что время не лечит, что Антуан столь же мрачен и нем, а в глазах его живет страх.

Отец ни на секунду не оставлял нас вдвоем, а после, уходя с Антуаном, возвращался поздно, уходил к себе, не говоря ни слова, утром же вновь исчезал. Случалось, он пропадал на один-два дня, однажды и вовсе сгинул на неделю, заставив меня поволноваться.

Но и тогда я не осмелился нарушить запрет. Хижина у подножья Мон-Муше и брат мой оставались недостижимы.

Впрочем, вскорости Антуан сам нашел меня. Это случилось в третью неделю осени, когда я, устав от одиночества, вышел на охоту. Я не столько жаждал подстрелить зазевавшегося зайца или ословевшего от осенней сытости молодого тетерева, сколько хотел просто убраться из дому.

Я брел по тропинкам, большие глядя под ноги, нежеле по сторонам, и раздумывал о том, что уж теперь-то у отца не найдется причин отказывать мне в моем желании уйти в монахи. И уже столь ярко нарисовал себе картины будущей жизни, вне всяких сомнений преблагостной, преисполненной молитв и бесед с мудрецами, а также явного благословения Божия, что едва не прошел мимо человека, стоявшего у старого клена. Тем паче что густая тень древесной кроны надежно укрывала его от любопытных взоров.

– Пьер, – он сам окликнул меня и снова поразил до самой глубины души – это был голос моего Антуана, чуть охрипший, севший, но все же знакомый. – Здравствуй, Пьер.

Тогда я растерялся и замер, тогда я не нашелся с ответом и снова повторил сказанное некогда:

– Здравствуй, брат.

И снова воцарилось молчание. Мы шли вместе, локоть к локтю, я вдыхал его запах, который был сродни прочим ароматам осеннего леса – диким и напроць лишенным человеческой благородности. В нем мешались влажная земля, прелые листья, едкая звериная вонь, словно Антуан всю предыдущую ночь провел в волчьем логове. И ни следа мыла, масел, притираний...

– Приходи еще, Пьер, – попросил он, дойдя до опушки леса, но не решившись пересечь черту между тенью и светом. Напротив, он заслонился от света ладонью, точно тот доставлял мучения серым очам Антуана. – Приходи, пожалуйста.

– Приду, – пообещал я. И сдержал слово, на следующий же день явился на место под старым кленом, и ждал. О, как я ждал, как мерил шагами тропу, как прислушивался к звукам леса, как уговаривал себя, что он вот-вот придет, как находил одно за другим объяснения, отчего он не приходит, как... как ушел, преисполненный тревог и разочарований.

И вернулся на следующий день. И еще через один. И ходил к треклятому клену до тех пор, пока пожелтевшая листва его вовсе не опала, цветастым ковром укрыв седую от мороза

землю. И пока первый снег не скрыл измазанную листву. И пока первые волчьи следы не прочертили линии на белом полотнище.

Надо сказать, что волков в Жеводане хватало. На них устраивали облавы, и грубые, крестьянские, и полные шумного веселья аристократические травли, которых, однако, мой отец чурался. Но, поскольку он чурался и иных забав, полагая их недостойными и зачастую непристойными, я не придавал сему обстоятельству особого значения.

Так вот, летом волки разбредались по лесам, не причиняя особого беспокойства, зимою же сбивались в стаи, порой огромные и оттого наглые, подбирались к человеческому жилищу, пугая воем и доставляя иной ущерб. Совсем уж редко доходили слухи о том, что волки нападают на людей, что являлось поводом для новых облав.

Но зима 1763 года, как и предшествовавшее ей лето, выдалась на удивление спокойной. Я видел следы, я слышал голоса, но они, далекие и слабые, внушали лишь смутное беспокойство, свойственное человеческой натуре.

В один из дней, прогуливаясь вдоль опушки леса, в который, впрочем, я благоразумно остерегался заглядывать, ибо, занесенный снегом, полный бурелома и зверья, он был опасен, я увидел Антуана. Вне всяких сомнений это был именно он. Обряженный в длинную лисью шубу, с мушкетом, закинутым за спину, он снова стоял на границе света и тьмы, как прежде, заслоняясь от низкого зимнего солнца рукой.

– Антуан! Антуан! – закричал я и, свернув с тропы, побежал к нему. – Антуан, подожди!

И тут из-за елей, росших плотною грядой, вынырнули псы не виданной мною прежде породы. Огромные, рыжего окрасу и волчьей стати, они кинулись наперерез мне, рыча и скалясь.

– Антуан! – Я остановился и отступил. – Отзови своих собак, Антуан!

А он будто и не услышал.

– Антуан, отзови их! – Я уже видел, как собачьи клыки смыкаются на моих ногах, ломая кости и терзая мышцы, как рыжие демоны, рыча и визжа от радости, рвут слабую плоть тела моего. Я почти поверил, что мой брат желает мне смерти, когда собаки остановились.

Нет, он не подавал им команды, такой, которую я мог бы услышать, он вообще не делал ничего, но меж тем оба пса замерли в трех шагах от меня.

Огромные, в полтора раза крупнее волка, широкогрудые и горбатые, они не походили ни на одну породу из виденных мною прежде. Короткие морды имели мощные челюсти и крутые лбы, глаза были красны, а уши напоминали рожки. По хребту у обоих шли полосы длинной бурой щетины, а худые бока пестрели пятнами.

Я стоял, гадая, нападут ли звери, и покрывался испариной, понимая, что если нападут, то отбиться от них у меня ни малейшего шанса. Они же, наблюдая за каждым моим вдохом, ухмылялись.

– Антуан, – взмолился я. – Неужто ты сердишься на меня, Антуан?

И вот фигура на краю леса шелохнулась и в следующий миг растворилась в тени, словно и не было ее. А псы, вскочив на ноги, кинулись за хозяином.

Следует добавить, что, несмотря на обуявший меня ужас, я нашел в себе силы внимательно осмотреть следы, ибо желал убедиться в некотором подозрении, каковое мелькнуло в мыслях моих.

И да, отпечатки на снегу были столь же странны, сколь и звери, их оставившие. Вроде и волчьи, но вместе с тем по-кошачьи округлые, с глубокими вмятинами от когтей.

В тот день я, сам того не зная, приблизился к разгадке на шаг. И на два к аду, что разверзся у меня в душе 30 июня года 1764-го.

Перечитывая записи, вынужден констатировать прискорбнейший факт – мой слог оставляет желать лучшего, равно как и умение повествователя. Рассказ, выходящий из-под

пера моего, грешит многословием, сумбураностью, каковая суть отражение того смятения, что царит в моих мыслях. Однако же, напоминая себе и читателю, коли такой същется, что я не ставил себе целью написать презабавную историю развлечения ради, но лишь поведать горькую правду об Антуане и проклятии, которое я навлек на свою семью.

Моя дражайшая супруга не единожды требовала оставить занятие и лучшие, если уж мне вздумалось пробовать силы в сочинительстве, написать во славу нашего Императора, ибо это позволит снискать милости не только для нас, но и для единственного нашего внука. Пусть он простит меня, но слишком стар я, чтобы преклоняться и лжесвидетельствовать. Наши Император суть аллегория Зверя великого, каковой явлением своим поверг в страх зверей малых. Но как терзали они мою любимую Францию тысячами оскаленных пастей, так ныне терзает он, и раны от клыков его куда страшнее...

Да помилует нас, грешных, Господь, и не отвертит свой лик, как сделал это некогда.

Прошлый отрывок моих откровений оборвался на случайной встрече в лесу с Антуаном и его зверьми, о каковой я, повинуюсь неясному душевному смятению, не поведал отцу, хотя тот не единожды пытался расспрашивать о моей внезапной страсти к лесным прогулкам и о том, не докучают ли волки.

Когда же я в ответ поддавался любопытству и начинал расспрашивать о брате, отец немедля впадал в ярость, которая, как я понял позже, во многом была притворной. Меж тем время шло, мы отпраздновали Рождество Христово, и когда пели гимны, Антуан даже шевелил губами, повторяя слова, что заставило отца прослезиться от гордости и умиления.

На другой день в доме нашем объявился гость, каковой, будучи незванным, оставался дорогим.

Следует сказать, что меня всегда удивляла дружба моего отца и Жана-Франсуа-Шарля де Ла-Молетта, графа Моранжа, личности яркой и, не побоюсь того сказать, претенциозной. Рожденный в 1728 году в замке Боу прихода Ланжело, в четырнадцать лет он пополнил ряды королевских мушкетеров, чтобы во славу короля участвовать во многих войнах², которые закалили тело и дух этого человека, принесли ему королевский орден Святого Луи и пост губернатора Минорки, каковой он оставил в 1763 году. Именно тогда, пожалуй, я догадался, что именно графа, каковой, несмотря на расстояние, разделявшее нас, остался другом моему отцу, следует благодарить за возвращение Антуана.

Граф де Моранжа, пусть проклята будет лживая душа его, переступил порог и распростер объятья.

– Друг мой, – сказал он отцу. – Сколь рад я, что сердечные раны твои наконец излечились...

От звука этого голоса Антуан побледнел и попятился, едва не сбив слугу с канделябром. Ужас и ненависть исказили лицо моего брата, но столь же быстро исчезли, сменившись обыкновенным, равнодушным выражением.

– Антуан? Что с тобой, Антуан? Это же...

Он приложил палец к губам, а во взгляде его появилась мольба – не выдавай. Разве ж я мог отказать?

Тем временем отец и граф имели долгую беседу за закрытыми дверями, из-за которых порой доносились голоса громкие, но невнятные, словно они спорили и старались сдержать страсть спора, дабы не быть услышанными кем-то. После отец, посерьезневший и строгий, как перед мессой, кликнул Антуана, а мне же подарил такой взгляд, что сердце мое замерло, разбитое.

Никогда. Никогда боле, думал я, отцовское доверие и любовь не вернутся ко мне. Так стоит ли цепляться за этот мир? Стоит ли медлить? И так ли уж мне необходимо бла-

² В частности, в войне за Австрийское наследство и Семилетней войне.

гословение человека, каковой найдет любую причину, дабы в благословении этом отказать, сугубо лишь из желания причинить мне большие мучений.

Я стоял под дверью, забрав у слуги свечу. Я смотрел на огонь и мечтал, как в ином месте, в ином времени буду стоять в храме, и свеча моя станет одной из многих свечей, и голос мой сольется с иными голосами, восславляя имя Божие, а душа, отринув одиночество, обретет покой и радость...

– Ты еще здесь? – Отец вышел первым. – Уходи!

– Ну что ты, мой друг, не стоит. Пьер, – граф оглядел меня через стеклышко лорнета, внимательно, словно бы пытаясь выискать в теле некий, одному ему видимый изъян. Сам де Моранжа, пусть и далекий от Парижа и мод его, был почти также совершенен, как некогда Антуан. Высокий, статный, несколько худощавый, с правильными чертами лица, он обладал утонченной красотой, каковую не в силах были скрыть ни простой сегодняшний наряд, ни короткий парик, ни даже чистое, лишенное обыкновенных белил и румян лицо. – Пьер славный мальчик и хороший сын. Он послушен, набожен...

– Нет, – резко оборвал отец, чего прежде никогда не позволял в беседах с маркизом. – Пьер слаб духом.

– Как скажете, друг мой, как скажете...

И Жан-Франсуа-Шарль де Ла-Мошетт, граф Моранжа покинул наш дом.

Тогда всю ночь я, слушая многоголосый волчий вой, гадал, как сказать отцу о своем уходе. И также гадал на следующий день, и еще через день, пока сама мысль не поблекла, перебродивши, точно старое вино. Видимо, я и вправду слаб духом, поелику так и не осмелился воплотить мечту, оставшись ненужным птенцом в заброшенном гнезде поместья, будущим свидетелем. Нечаянным убийцей собственного брата.

Калькутта. Мне пять. Наверное, уже пять, поскольку уже помню, но еще не понимаю. Многое из того, что нормально сейчас, тогда показалось бы странным, а странное, напротив, нормальным.

Нормально жить в подвале, скрываясь днем и выползая вечером. Нормально спать, обняв лохматую шею Вожака, огромного дикого кобеля, которого боялась вся округа. Нормально разговаривать с ним и скалить зубы, играя. До сих пор загадка, почему он не тронул меня?

Чуял ла-гуру? Боялся даже такого, мелкого и незащитного, вечно голодного...

Маугли. Да, так она меня назвала, моя тетушка Стефа, первый человек, которого я полюбил. И единственный, кто любил меня. Уже позже, повзрослев, я узнал, что мать моя была алкоголичкой – я тогда еще удивился факту наличия у меня матери в принципе – и в конце концов спилась, на похороны вызвали сестру. И там же, на похоронах, Стефа узнала обо мне...

Соседки говорили, что осталась она не из-за меня, а из-за квартиры, что из деревни да в город переехать – большая удача. А хоть бы и так, главное, что она осталась, она забрала меня из подвала, дикого и строптивого, не понимающего, что творю. Она сказала:

– Идем, теперь ты будешь жить со мной.

И Вожак, давно потерявший веру в людей, отправился с нами. Приняла. Поняла. И мы были благодарны ей.

Теперь, правда, порой думаю, что лучше бы я сдох в том подвале, или спился позже, в подростково-бестолковом возрасте, или упал бы в героиновый дурман... в общем, что-то сделал, чтобы остановить себя.

Но, видно, не судьба.

Ирочка сидела у окна. Ирочка отчаянно скучала и столь же отчаянно маялась любопытством, каковое требовало немедленно бросить бесполезное занятие – а какая, скажите, польза может быть в слежке за прохожими? – и пройти по квартире. Благо хозяин ее исчез, сунув вместо приветствия связку ключей и велел убираться до шести.

До шести оставалось два с половиной часа.

Двести десять минут в комнате, пустота которой удручала. Даже странно, что в месте, живущем роскошью, нашлось подобное помещение. Дешевые желтенькие обои, линолеум на полу – скользкий и крапчатый, отчего выглядит грязным; люстра на три рожка и пластиковая лампа на ножке. Из мебели лишь стол с огромным количеством ящиков, впрочем, пустых – только в самом верхнем лежала толстенная бухгалтерская тетрадь и упаковка дешевеньких шариковых ручек; и стул с неудобной деревянной спинкой и жесткой седушкой.

Пожалуй, единственным дорогим предметом в комнате были окна. Огромные, начинавшиеся в полуметре от пола, они упирались в потолок, сливаясь друг с другом тонкими пластиковыми рамами, которые и не рамами выглядели – швами. Окна тянулись во всю стену, жадно глотали свет, выставляя Ирочку точно на витрине.

Ну да седьмой этаж, кому на нее глядеть-то?

– Высоко сижу, далеко гляжу. – Ирочка покрутила колесики мощного морского бинокля, выданного Тимуром. – Дурью маюсь.

Если бы он еще сказал, за кем следить... ну не за всем же районом в самом-то деле!

Или как раз за всем? Там, по другую сторону дома, начинался иной мир, которому и могла бы принадлежать комнатуха с дешевыми обоями и трехрожковой люстрой. Там обитали стада серых домов и реки серого же асфальта, там умирала в пыли и смоге редкая зелень, и вовсе не редкие люди торопились по своим важным делам. Там было все знакомо и оттого неинтересно.

Машины, дворы, балконы с разноцветным тряпьем, что, высыхая, пропитывается запахами города. Булочные и магазины, лотки с мелочовкой и газетами, автобусная остановка с полусодранной крышей и тумба, пестрящая плакатами.

Смотри не смотри, нового не увидишь, а старое – кому оно надо?

Но Ирочка послушно наблюдала, время от времени делая заметки в тетради – вдруг да Тимур проверит? Может, это тест такой, на исполнительность и аккуратность, на терпимость к странностям? Или еще на что-нибудь?

Люди имеют право отличаться от других людей. Люди имеют право быть некрасивыми. Только другие люди не спешат признать это право. И Ирочка, пытаясь отделаться от обычных своих мыслей, снова приникла к биноклю.

Ближний дом, третий подъезд, третий этаж, балкон. Компания подростков вышла покурить. Девица и два парня. Описывать? Четвертый этаж. Старушка поливает бегонии. Видно, как кривится лицо, шевелятся губы, подрагивает нос. Небось втягивает сигаретную вонь, а старушка точно знает – курить плохо. И непременно пойдет жаловаться соседям на своевольных чад. А вот мужик на балконе приседает, в руках гантели, на шкуре пот, на лице сосредоточенность. Смешно.

Дым Ирочка заметила не сразу, точнее, не сразу поняла, что это именно дым, а не туман, пар или внезапно запотевшие стекла. Дым был белым, редким и почти неразличимым на фоне светлого неба. А потом полыхнуло.

Черно-рыжий клубок выплеснулся из окон и балкона, беззвучно, но оттого вдвойне страшно.

– Мамочки! – Ирочка уронила бинокль на колени. – Мамочки...

Она забыла и про тетрадь, и про ручку, что соскользнула со стола и закатилась куда-то. Она забыла о скуке и любопытстве. Она убежала искать телефон, а когда нашла, то выяснила – не работает.

Разве бывает, чтобы в доме не работали телефоны?

Тогда Ирочка вспомнила про сотовый, но когда и он, нестати потерявшийся, нашелся, то выяснилось, что к дому уже подъехали пожарные машины, и толпа расступилась, замерла в отдалении, любуясь.

Несколькими минутами спустя подкатила «Скорая»...

Тимур стоял на углу, делая вид, что увлеченно разглядывает витрину, хотя, видит бог, не смог бы сказать, что же там выставлено, за стеклом. Зато само стекло, отчасти зеркало, отражало смутные тени суеты. Вот с воем пронеслась машина «Скорой», вот кто-то закричал, завыл, вот люди отшатнулись и снова сомкнули ряды...

Нужно уходить.

– Нужно, – согласился Марат. В темной витрине его отражение терялось среди других. – Чего стоишь? Плакаться будешь? Мы это сделали ради нас.

– Он бы молчал. Он столько лет молчал, так почему сейчас?

– Потому, – Марат не станет объяснять. – Сопли подбери и вали домой. Ирочка небось заждалась. Смотри, женщины любопытны... или ты именно на это рассчитываешь? Зря, мой дорогой, зря.

– Ты параноик.

– А ты дурак, если думаешь, что со мною можно справиться вот так... не делай ошибок, Тимур. Или ты забыл, что я могу и больно сделать? Напомнить?

– Не надо!

Но он все равно ударил. Боль скрутила, боль проникла острием по-над поясницей, свела мышцы судорогой, заставила рухнуть на землю – пыльную, грязную, отвратительную землю – и корчиться, ползти.

– Мужчина, вам плохо?! – гортанный голос пробился сквозь туман боли. – Здесь мужчине плохо! Помогите!

Не помогут. Эту боль перетерпеть нужно, эта боль – наказание, только рассказывать нельзя, иначе снова будет больно. Марат ушел, но недалеко, он наблюдает, наслаждается властью.

Сволочь он.

Когда боль отпустила, Тимур обнаружил себя сидящим на лавочке, в одной руке была бутылка с водой, на другой – браслет манометра. А ошейник где? Нельзя потерять! Ни в коем случае нельзя, иначе Марат окончательно выйдет из-под контроля. Хотя он уже вышел, но...

– Давно это? – осведомился усталый врач с лицом мессии.

– Давно.

К великой радости Тимура, ошейник нашелся в кармане. Привычно обнял запястье, успокаивая.

– На учете стоишь?

– Стою. Лекарство вот забыл, – соврал Тимур, глядя в темные глаза. Рассказать бы ему все, вот как есть, чтобы с самого начала. Про Калькутту, про Марата, про Йолу и Таньку, про Ирочку, которая, наверное, тоже умрет. Но вместо этого спросил: – Пожар, да? Раненые?

– Мертвые, – ответил врач, сразу становясь еще более усталым. И раздраженным. Что, надоело людское любопытство? Бесцеремонность? Жадность до чужого горя? Терпи, мессиям положено, когда-нибудь и Тимуровы грехи возьмешь, взвалишь на плечи, как некогда крест, и поволочешь...

Господи, пусть минует тебя чаша сия.

– Двое, – зачем-то уточнил врач и, извиняясь, – нам ехать пора, парень. А ты на обследование сходи.

– Схожу.

Двое. Значит, Пашка и гражданская жена в байковом халате. А еще бессчетно картин... без вести пропавшие, без людей сгоревшие, запишут в потери имущества, если вообще внимание обратят.

Марат надеялся, что не обратят. Марат убирал не Пашку – рисованного зверя. И одуванчики убирал. И другое, виденное мельком. За что?

Ответа не было. И Тимур, поднявшись – бок еще тянуло, а в затылке мелко-мелко постукивало – направился к дому.

Вот бы Ирочка уже ушла.

– Ой, что с вами? – Не ушла, встретила на пороге, бледная, испуганная, с горящими щеками и круглыми, удивления полными очами. Ну до чего же некрасива!

Очаровательно некрасива.

– Вам плохо? Я пожар видела, я... я записывала, а потом вдруг выкатилось. Шар такой, красный и черный.

– Огонь и дым. Георгиевская лента.

– Что? – удивленно хлопнули ресницы. – Ах да... там газ взорвался. Ну я так думаю, что газ. А вы...

– А я в порядке. – Тимур оперся о стену, понимая, что еще немного – и упадет. Под ноги, под эти кривоватые полноватые ноги в синих тапочках и розовых носочках. – Я в полном порядке. Уходите.

– Что? – Она потянулась было, пытаясь подставить крутое плечо. Помочь. Глупая девочка, неужели она не понимает, что некоторым нельзя помогать! Что некоторых карает Бог и лучше бы, конечно, чтобы вместо кары он совсем забрал, но, видно, не судьба.

– Уходи, – выдавил Тимур, делая осторожный шаг.

– А вы?

– А мне без тебя будет лучше! Уходи. Что тут непонятного? Вон пошла! До завтра!

Обидится. Пускай. Для нее же лучше. Прости, девочка, но иначе нельзя, если все выйдет как надо, ты не останешься в обиде. Если все выйдет как надо... а если не выйдет, то обижаться будет некому.

– Давай, давай, пошла отсюда! – рявкнул Тимур.

Послушалась. Обиженно хлопнула дверью – конечно, не пошли навстречу благим намерениям, не позволили помочь, уложить в постель...

Холодный душ до онемения, паралича почти, когда кожа белеет и сосуды на ней выделяются синими реками. Холодное молоко – довыморозить то, что осталось живого. Холодная кровать.

Воспоминания.

Моя супруга, читая записи, упрекнула меня в излишнем многословии. Она права, святая женщина, и беда сия исходит от моего желания вспомнить и запечатлеть на бумаге любую мелочь, от страха опустить нечто важное.

Но все ж постараюсь быть более кратким, ибо немощь тела моего дает знать, что срок, отпущенный мне Господом, стремительно подходит к концу, а надо бы успеть рассказать все.

Итак, впервые Зверь явился в начале лета года 1764-го, средь бела дня напав на женщину, пасищу коров. Ей удалось спастись, забежав в середину стада, и зверь исчез, чтобы спустя несколько дней вернуться.

На сей раз жертвой стала Жанна Буле, девочка из деревушки Ибак недалеко от Лангоня. Известие о случившемся разнеслось по округе вместе со слезами несчастной матери и гневом мужчин. Винили волков, каковых в тот год, однако, было меньше, чем в годы иные. И на волков же ставили капканы, пока еще надеясь справиться этим привычным способом.

А в августе Зверь убил еще двоих детей. Он словно пробовал силу и раз за разом убеждался, что нет человека, способного остановить его пришествие.

Сентябрь унес пятерых, и среди них, что было и вовсе немисливо, юношу благородного происхождения, сына маркиза д'Анше, каковой, потрясенный случившимся, испытал великий гнев, назначив сотню ливров за поимку чудовища.

Сколь скудной видится сейчас сия награда!

И Зверь посмеялся над графом в своей кровавой манере. К концу октября количество жертв достигло одиннадцати. Я не нахожу слов, чтобы описать ужас, объявивший весь Жеводан. Зверь не просто убивал, но делал это с воистину дьявольской жестокостью. Чудовище выкусывало жертвам щеки и языки, пило кровь и разбрасывало вокруг внутренности погибших. Так стоит ли удивляться, что в скором времени люди заговорили, что не животное это, но «ла-гуру» или же логр, человек-оборотень, посланный в наказание за грехи людские.

Пожалуй, первым, кто рассказал мне о Звере, стал Жан-Пьер Пурише, скотовод из Жюллианж, человек храбрый и весьма достойный доверия. Однажды вечером он отправился в амбар за сеном для своих быков и увидел темную тень, крадущуюся по полю близ поселка.

– Чудовище! – воскликнул Жан и, схватив мушкетон – а надо сказать, что в ту пору страх понудил всех носить с собой оружие, будь то нож, рогатина либо пистоль, – пальнул в Зверя. И тот мгновенно скользнул во тьму, чтобы в следующий миг возникнуть перед отважным Жаном.

– Он выпрыгнул прямо передо мною, – рассказывал Пурише. – И поднялся на задние лапы. А я, видит бог, не растерялся, пальнул второй раз. Чудовище закричало. О, боже ж ты мой, до чего жуткий у него голос! Я прям сомлел и вознес молитву Господу нашему, ибо сомнений не осталось – быть папаше Пурише мертвым. Но тут мы встретились глазами, и я вновь ужаснулся.

Этот честный человек трижды перекрестился, прежде чем осмелился продолжить:

– Человечьи у него глаза. Вот можете не верить мне, господин, но говорю как оно есть! Папаша Пурише, может, и не сильно-то умен, но звериные глаза от человеческих отличит. А еще... – тут он перешел на шепот. – Еще я вам скажу, что только серебром его и свалишь. Я в упор всади́л заряд хорошей дроби. И что? И ничего!

Он был прав в том, что Зверь, получив рану, каковая свалила бы любое, даже самое сильное животное, вел себя так, будто бы ничего и не случилось, и уже 25 ноября убил Катерину Валли, женицину семидесяти лет от роду. А всего в году 1764-м от Рождества Христова жертвами Чудовища из Жеводана стали двадцать семь человек.

И да, лишь после разговора с отважным Пурише в сердце моем поселились подозрения, каковыми я, дрожащий от страха и влекомый отчаянием, поделился с отцом.

– Ничтожество! Да как ты смеешь! Как ты можешь думать подобное! Кому ты еще говорил? – Он вцепился мне в плечи, трясся и брызжа слюной в лицо, меж тем сам становясь бледнее и бледнее.

– Никому, отец. Отец, – взмолился я, падая на колени. – Послушайте, отец. Вы сами говорили, что долгий плен повредил Антуану разум.

– А ты и рад!

– Меж тем... – Я попытался скрыть обиду, которую нанесли мне его слова. – Меж тем он привез из странствий зверей, которые...

– Откуда... кто тебе... как ты... – Отец посерел лицом и рухнул в кресло. Я не понял тогда, чем же так поразили его эти мои слова. И, боясь, как бы не случилось с ним приступа, спешно поведал о давней встрече в лесу, добавив догадки, что Антуан, несомненно, безвиновен, но просто звери его, сбегав из-под хозяйской руки, бесчинствуют в лесах Жеводана. И значит, следует рассказать о них людям и устроить облаву...

– Нет, – прервал мои разглагольствования отец. – Нет, Пьер, нельзя.

– Но почему же?!

– Потому... потому, Пьер, что люди не поверят в его невиновность. Потому, что брат твой на веки вечные станет в их глазах убийцей. Потому, что во гневе и ярости они, безумные, убьют его...

– Но, отец...

– Молчи, Пьер, молчи. Вспомни, как яростна толпа. Как дружно бегут они бить, рвать, вешать, лишь бы нашелся кто-то, способный крикнуть: он виновен! Хочешь ли ты стать тем, кто воззовет к смерти собственного брата? Ты, уже однажды убивший его?

Признаюсь, что при этих словах я испытал и боль, и ужас, и отчаяние, поскольку совершенно не знал, как следует поступать.

– Хочешь ли ты, собрав толпу грязных крестьян, вооружив их вилами да косами, дубинами и старыми мушкетами, повести к дому Антуана? Или, может, ты его поцелуешь прилюдно, как некогда Иуда Искарот поцеловал Спасителя, обрекая того на мучения и гибель?

– Отец...

– Молчи, Пьер. Всеми святыми, именем матери твоей, заклинаю. Молчи. Ибо то, о чем ты говоришь, лишь домыслы, голос демонов зависти, толкающих тебя на путь лжи. Разве видел ты сам Зверя? Разве мог сравнить его и тех животных, что скрашивают одиночество Антуана? Разве уверен ты полностью, что не совершишь ошибки?

Я не был уверен, я был полон смятений и сомнений и оттого поддался просьбам отца и замолчал.

Меня, восьмилетку, Калькутта не любила, держалась в стороне, провожая настороженными взглядами дворовой шпаны, свистом, изредка – камнем в спину и непременным топотом. Вожак рычал. Он никогда не лаял, только рычал, и этого хватило в самый первый раз, когда со мною вышли «познакомиться».

– Горе ты мое, – говорила тетя Стефа обоим. Жалела. Наливала молока – мне в большую оловянную кружку, Вожаку – в оловянную миску. Резала батон – под тупым ножом он подминался и рассыпался по скатерти крошками. – Как же ты в школу пойдешь?

– Не пойду.

Я тогда был колюч и дик, маленький Маугли в большом человеческом мире, хотя про Маугли я не знал, потому как читать не умел, а у тети Стефы вечно не хватало времени.

Помню запах ее, сытный, супный и иногда котлетный. Помню зеленый в желтую крапку фартук. Помню руки – мягкие, белые, с розовыми пятнышками мозолей да длинным шрамом-волосом, прилипшим к запястью.

– Пойдешь. – Стефа треплет меня по голове. – Все должны ходить в школу. Ты же не хочешь остаться безграмотным?

Я хотел, точнее, мне было все равно, потому что в тот момент жизнь моя и мир сходились до размеров квартиры. Но я не смел перечить Стефе, и мы пошли в школу.

Первый день, звонок, неудобный костюм, в котором я ощущал себя дураком, пушистые астры, резко вонявшие цветами, скулящий, растерянный Вожак, запертый в квартире, и нарядная Стефа.

Улица. Люди. Толпа. До сих пор ненавижу толпы, а тогда меня попросту смяло впечатлениями. Запахи окружили, облапали взгляды, ощерились слова, угрожая:

– Не подходи!

И я замер, а Стефа, потянув за собой, сердито проворчала:

– Ну не упрямься же! Тебе давно пора в школу.

Давно, как выяснилось позже, – это два года. Два чертовых года, на которые я отстал, и две чертовых пропасти, навсегда вставшие между мной и классом. Учительница меня жалела, завучи сочувствовали, директриса была приятно-равнодушна, ей хватало иных забот, а вот одноклассники мои отрывались.

– Дебил! Дебил! – и плевки жеваной бумагой, а стоило поймать – рев. И уговоры, и разговоры, и первая драка, и Стефино молчание по возвращении из школы. Тогда ей предложили отдать меня в интернат.

Возможно, так было бы лучше для всех. Но так не стало.

Уж не помню, как я перевалил через первый класс, на чистом упрямстве, наверное. Второй запомнился зубрежкой и страхами, холодным молоком, которым меня продолжала поить Стефа, и чернилами на пальцах. Третий – припадками ярости, безумия и бессилия, после которых я сбежал на овраг и, спрятавшись в густом кустарнике, отлеживался, выл, грыз кулаки до крови и жалел себя.

А в четвертом случилось чудо: я познакомился с Йолей.

И первым подошел именно он, робко, бочком, держа перед собой черный портфель с веревочной ручкой. Поправил очки и тихо спросил:

– Можно, я с тобой до дому пойду?

Это было так... странно, что я сказал:

– Можно.

Я не собирался домой, но теперь пошел, чуть впереди, но постоянно оглядываясь на Йолю, пытаюсь сообразить, кто он такой и чего ему от меня надо. Все выяснилось в первой подворотне, когда навстречу вышли трое и первый из них, сунув краденую сигаретку в зубы, процедил:

– Ну надо же, какая встреча! А я уже заждался!

Они были не из нашего двора, не из Калькутты вообще. От них пахло дымом рабочих районов и наглостью чужаков, уверенных в собственном превосходстве. Пожалуй, теперь, годы спустя, я могу сказать – они были старше и сильнее, но...

Они не были мною.

– И друга привел. – Широко расставленные ноги, руки в карманах и задравшиеся вверх брюки, неспешный шаг, вразвалочку и кепка на затылке. – Это хорошо. Эй, друг, выворачивай карманы.

– Зачем? – Я уже понимал – быть драке. И я, черт побери, радовался. Я был просто-таки счастлив!

– Затем, что я так сказал.

И двое за спиною чужака загоготали, а Йоля, заикаясь, попросил:

– Пропустите нас. Пожалуйста.

Это вызвало еще один взрыв смеха и тычок в плечо. В мое плечо.

Дальше... дальше было мутно, больно иногда, но радостно. Я хрипел, храпел, бил, что кулаком, что локтем, пинал, ревел, кажется, грыз зубами, жалея, что рядом нету Вожака. Вдвоем нам было бы сподручней. А потом все закончилось.

– Не надо, не надо, пожалуйста, не надо их больше! – Йоля шепелявил раскrovавленными губами, и очки его, разбитые, висели, цепляясь дужкой за оттопыренное, распухшее ухо. Йоля храбро шел на меня, заслоня чужака, а тот, свернувшись калачиком, громко подвывал.

Почему я не ударил Йолю? Почему вообще услышал его? Почему позволил себя увести? И почему эта история не имела никаких последствий, если не считать визита участкового.

Хотя нет, вру. Имела последствия, очень важные, жизненные прямо-таки последствия. У меня появился друг.

– А чем он вообще занимается? – поинтересовался Лешка, подсыпая канарейке зерна.

– Бизнесом, – ответила Ирочка, стесняясь того, что не знает, чем на самом деле занимается Тимур. Чем-то да занимается, ведь деньги просто так не бывают.

– Ясно, не знаешь. – Лешка успел ее узнать достаточно, чтобы понять, когда она врет. – И не интересовалась даже. А надо бы. Надо!

Его палец щелкнул Ирочку по носу.

– Ты, подруга, влезла в крайне нехорошую историю. Так мне кажется. Во-первых, что за условие идиотское? Во-вторых, сама работа. В-третьих, зарплата. В-четвертых, совпадение...

– Какое совпадение?

Ирочка сидела на полу, собирая мозаику. Собирала она ее уже давно, и не столько из интереса, сколько для того, чтобы был повод задержаться в Лешкиной квартире. Нет, он ее не гнал, он вообще порой не замечал, что в квартире еще кто-то имеется, но сидеть вот просто так, бездельно, Ирочка не могла.

– А такое. Первый день наблюдений – и пожар. В соседнем, заметь, доме!

Лешка выловил из груды кусочков желтый фрагмент, окинув взглядом поле, нагнулся и поставил в нужное место. Вот так, у Лешки все вот так просто, один взгляд и... Лешка гений. Ну или почти гений, потому что, чтобы стать совсем, ему нужно сделать что-то гениальное. А ему лень.

Ему неинтересно.

И вообще он влюблен, а любовь – важнее космоса.

– Смотри, два любых факта могут быть совпадением, но по мере увеличения количеств совпадений в одной точке они переходят в разряд закономерности. – Он сел рядом и, почесав голую пятку, продолжил: – Следовательно, логично предположить, что все события связаны.

Предполагать Ирочка не желала.

– Тогда для составления адекватного прогноза закономерного развития имеющейся ситуации мы должны иметь максимально полную информацию...

– Ты зануда, – не выдержала Ирочка. – Занудный зануда. Ну каким боком я к пожару? Или Тимур. Он вообще болел сегодня.

– Чем?

– Не знаю.

– Узнай. – Лешка явно заинтересовался делом. – А я узнаю про него с другой стороны... к слову, вот ты знаешь, что дом построен на пустыре?

– А до пустыря там было кладбище и церковь, – Ирочка начала заводится. – И теперь потревоженные души мстят...

– Душа – понятие абстрактное. А вот пустырь был. А за ним Калькутта. Район такой, который и не район даже, а смешение города и деревни. Город растет, наползает на села, поглощает их. И Калькутту поглотил.

Лешка прикусил палец и погрузился в мысли. Ну, это надолго, он мог часами вот так сидеть, не произнося ни слова и не меняя позы. Его тело, нескладное, негибкое, давно привыкло, и, когда Ирочка однажды спросила, не затекают ли у Лешки мышцы, тот удивился.

Он не помнил о существовании мышц.

В минуты медитации он вообще не помнил ни о чем, кроме проблемы, которую расчленил в своей гениальной голове.

Но Калькутта... какое странное название для района. А от Тимура – это Ирочке пришлось в голову между третьим и четвертым этажами – пахло растворителем и дымом. Может, прав Лешка? И связано все?

Ночью Ирочке снился огонь и незнакомые люди, укорявшие ее за плохое исполнение служебных обязанностей, за то, что не туда смотрела, не то видела и о пожаре не сообщила. Проснувшись она с больной головой и твердым решением уволиться.

Впрочем, решения хватило ровно на десять минут.

Тимур ждал ее. Со вчерашнего вечера, с собственного пробуждения и возвращения в хрупкое состояние бытия, каковое, впрочем, было слишком ненадежным, чтобы на него можно было положиться. Но он ждал.

Вышел в магазин и ждал.

Пил холодное молоко из пластиковой бутылки, заедая свежим батоном, который разламывал руками, и ждал.

Сидел на полу, в углу между столиком и пузатой китайской вазой, фальшивой, как все в этом доме, и ждал. Распутывал узелки на ошейнике и снова завязывал. Собирался выкинуть – толку от него никакого, невозможно удержать зверя на цепи – и не выбрасывал. Ждал.

Спаситель придет, нужно лишь верить. И ровно в восемь, когда он почти решился набрать ее номер, в дверь позвонили. Ожидание закончилось.

На Ирочке были синие джинсы, плотно облегавшие пухлый, расплывчатых форм зад, и длинный свитер, который ничего не облегал, но менял очертания фигуры, делая ее нелепой, неуклюжей. Еще и эти рыжие косички, по-девчачьи глупые, и круглые очки в темной оправе.

– Идемте, – Тимур заставил себя отвернуться от этого лица, – я покажу вам свой дом. Я хочу, чтобы сегодня вы остались на ночь.

Вспыхнула, прямо-таки полыхнула алым, невинная роза, оскорбленная пошлою мыслью. Возразит? Спеша смешать ожидания и возмущение, ответит пощечиной? Нет, лишь спросила:

– Н-на ночь?

– Да, на ночь. Если вам что-то нужно из одежды или косметики, – он протянул скользкий пластик кредитной карты, заготовленной загодя вместе со всей этой речью, – магазин за углом.

Взяла. Удивленная и загипнотизированная, поддающаяся воле, как глина поддается рукам. Это хорошо, чуть позже глину облизнет пламя, и она затвердеет, навсегда сохраняя формы.

– Берите. Можете не стесняться. Из зарплаты не вычту.

Но она стеснялась, и пальцы дрожали, и за стеклами очков, в испуганном пока взгляде зрела решимость. Девичья честь дороже соблазна.

– Не волнуйтесь, я не собираюсь на вас посягать. Вы... слишком некрасивы, чтобы рассчитывать на такую любезность.

А вот теперь злость. Первая вспышка, первое сопротивление, и пальцы, сжавшие кредитку, белеют. Наверное, ему должно быть стыдно, но вот беда – стыд слишком абстрактное понятие.

Прогулка по квартире затянулась. Комната, комната, комната... он что-то рассказывал, кажется, шутил, действуя по давно выработанной, привычной схеме, очаровывая и рассыпаясь в любезностях. Он безудержно хвастался тем, чем можно было похвастаться, и язвительно высмеивал то, что следовало высмеять. И Ирочка постепенно оттаивала, теряла прежнюю настороженность.

– А вот эту дверь, – Тимур остановился, положив руки на крашеную поверхность, – вам открывать нельзя.

– Почему? – Ирочка все еще вертела в руках кредитку, верно, предаваясь размышлениям, насколько вообще прилично использовать ее.

– Потому, что за нею живет оборотень.

Улыбнулась. Правильно, это шутка. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

– Вот. – Тимур выловил из второго кармана комплект ключей. – Это от квартиры. От внешней двери, от внутренней, от круглой гостиной, от библиотеки...

Ключи скользили на кольце, одинаково холодные, с острыми краями – зубастые пасти, норовящие полоснуть по неловким пальцам. Ключи скользили, а удивление Ирочки росло.

– Они пронумерованы. И прошу вас, не оставляйте двери незапертыми...

Моя супруга, каковой я всецело доверяю, впервые, прочитав записи, не сказала ни слова. Неужели и она осуждает меня за трусость? За любовь к отцу и брату? За то, что эта любовь сделала меня сообщником страшных преступлений, творившихся в Жеводане?

Но отчего тогда она не выскажет обвинений в лицо? Или жалеет утомляющей женской жалостью, бестолковой и никчемною, как я сам? И да простит она меня за эти слова, но, давши слово быть откровенным, не имею я права лукавить хоть в самой малости.

Итак, зима, расчертившая год 1764-й с годом 1765-м, выдалась снежной. Однако Зверя это нисколько не остановило, более того, он, раззадоренный легкостью, с каковой давалась ему сия ужасная охота, совсем позабыл о всякой осторожности.

Он дьявольской тенью являлся то тут, то там, совершая порой по два-три нападения в день, и длилось сие с декабря по март. Однако милостью Господа не каждая его атака оканчивалась смертью. С превеликой радостью пишу о чудесном спасении Жака Портфэ тринадцатилет от роду и с ним четверых мальчиков и двух девочек, состоявшемся 12 января 1764 года, когда храбрые дети стали кидать в Зверя палками и камнями, заставив его отступить перед яростью чистых душ. Но он, взбешенный, в тот же день убил малолетнего ребенка и, будто насмехаясь над всяческими попытками людей прекратить сие безумие, напал на женщину.

Естественно, бесчинства, чинимые Зверем в Жеводане, не могли остаться лишь в пределах этой провинции, слухи разнеслись по всей Франции, достигнув ушей самого короля, каковой, огорченный бедами подданных своих, издал распоряжение уничтожить злокозненную тварь.

На великую охоту, состоявшуюся 7 февраля, съехались люди со всей страны. Был тут и маркиз д'Анши, опечаленный смертью сына, и де Моранжа, странно веселый и будто бы хмельной, были и прочие люди из местной знати, из охотников, из крестьян, надеявшихся, что этакая толпа всяко одолеет отродье тьмы, были и просто искатели удачи.

Охота длилась, цепи растянулись у подножия горы Мон-Муше, готовые сомкнуться вокруг Зверя, но он, ведомый самим дьяволом, с легкостью уходил из-под прицелов. И продолжал нападать с прежней яростью. Это длилось и зиму, и весну, вплоть до 5 апреля, когда он, истинный хозяин Жеводана, настиг группу из четверых детей и убил их всех, бросив изуродованные тела во устрашение охотникам.

Пожалуй, раз уж выпало так, что я, взявшись говорить о своей семье, стал и хроникером Зверя, следует отступить и упомянуть о некоторых иных фактах и людях, принимавших участие в этой истории.

Сначала поимка чудовища была поручена капитану Дюамелю и его драгунам, однако, будучи человеком пусть и достойным, но лишенным живости ума, он лишь устраивал облаву за облавой, уничтожая волков и прочее зверье и нисколько не мешая Зверю. Тот, словно издеваясь над храбрым капитаном, появлялся то в одном, то в другом месте, выматывая людей и внушая суеверный ужас простым жителям Оверни.

И стоит ли удивляться, что в скором времени особым распоряжением короля на смену Дюамелю прибыл некто Денневаль, известный охотник на волков, человек вспыльчивый и самоуверенный, полагавший, что умение и опыт помогут быстро одолеть Зверя. Но вышло иначе. Зверь не соизволил даже показаться Денневалю, обходя и капканы, и начиненные ядом приманки, и потому разгневанный подобным поворотом король прислал в Жеводан Антуана де Ботерна, начальника королевской охраны и носителя королевской аркебузы.

— Опасный человек, — помнится, сказал мой отец, услышав эту новость, пожалуй, впервые он показался мне взволнованным. — Я много слышал о нем. — И после выплюнул брезгливое: — Еретик. И враг честных католиков.

— Он сумеет остановить Зверя? — спросил я, давая иные вопросы, готовые сорваться с языка, но отец лишь покачал головой и, поднявши очи в небо, ответил:

— Подобное лишь в руках Господа нашего, ибо Зверь есть бич его, посланный в наказание и испытание, ибо тот, чья вера крепка, избегнет клыков, но тот, чья душа потрачена ересью, смраден. И смрад сей влечет к себе Зверя, как влечет волка запах крови... И сказано в книге Осии: «И я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилища сердца их и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их».

— Я не понимаю...

– Ты веришь, мой сын. И это главное.

Тетя Цили была против нашей дружбы, она животным инстинктом своим понимала исходящую от меня опасность, она пыталась рассказать о ней Йоле, но тот, мечтательный скрипач, фантазер и человек иного, лучшего мира, не слушал.

Йоля желал мне помогать. Йоля приходил, звонил в дверь и, поставив в коридоре свой портфель с веревочной ручкой, доставал из него учебники.

Стефа была счастлива, я тихо ненавидел Йолю за его упрямство, за нежелание оставить меня в покое, но вот странное дело – ударить не мог. И Вожак на него не рычал.

Наверное, это был мой шанс, и я его использовал. Я смирился с визитами, я начал слушать, я начал пробовать, я начал выть от счастья, когда, наконец, начал понимать.

У Йоли просто все. Дважды два, трижды три. Сложение-вычитание-дробь-делители-знаменатели... он непостижимым образом делился со мной этим знанием, как делился с Вожаком мамиными бутербродами, а со Стефой – игрой на скрипке. И я, получая свою долю, становился другим.

Свет к свету.

Урок к уроку. Удивление учителей, осторожные похвалы завуча. Внезапная инициатива равнодушной директрисы и перевод. Минус год, минус пропасть.

И мы с Йолей одноклассники. Чуть позже появились Пашка и Юрка, неразлучная парочка, которая вначале попыталась указать мне на мое место – мое, естественно, по их представлениям, а потом, зарастив ссадины и уняв юшку из носу, предложила мир.

Мир перерос в дружбу. Стефа была счастлива, я... я не знаю, я просто был, привыкая к тому, новому, изменившемуся ко мне миру Калькутты. Вожак сказал бы, что у меня появилась стая, но Вожак не умел говорить, а я не задавался подобными вопросами.

Что я помню о том времени? Улицы. Бесконечные улицы, все разные и вместе с тем похожие, не то отражения, не то сестры. Окна. Люди. Улыбки или крик:

– А, что ты творишь?!

Тополиный пух и ломкие свечи старого каштана, что рос в нашем дворе, каждую осень рассыпая по асфальту глянцевые плоды. Собирали, набивали карманы, связывали в бусы и грозди, создавали австралийское боло и грузила для сети. Срывали еще не созревшие, колючие и зеленые, стесывая о ступеньки и поджаривая на солнце – получались бархатистые на ощупь шары.

Помню мечты, совершенно глупые и общие. Уехать. Убежать. Пройти землю от края до края. И Йолину игру на скрипке, от которой подступала к горлу неясная тоска. И Пашкины рисунки мелом на асфальте, и Юркины приемчики из подсмотренных на отцовском видеке.

Счастливый миг всемогущества, которое так быстро забывается.

И да, вся Калькутта была нашей. Играла. Частью ее игры был кирпичный недострой и бункер у реки с сырыми, осклизлыми стенами, кучами битого стекла и ржавой койкой. Велосипедная рама и три ведра, в которых тягали с реки песок, а к реке – стекло, чтобы засыпать в яму. Индейские шалаши в ивовых зарослях и настоящие луки из срубленной лозы. Луки не стреляли, песок набирал сырости и расплзался грязью, Стефа, счищая ее с брюк, ворчала, а я был счастлив.

Именно тогда я был совершенно счастлив, хотя и не понимал этого.

Лешка ждал в торговом центре, сидя на перилах, мотал ногами и грыз ногти. Думал.

– Привет, – сказал он. – Это хорошо, что ты мне позвонила. Давай сюда.

– Что давать? – Ирочка, наоборот, подумала, что звонила она совершенно зря и что присутствие Лешки сейчас совершенно неуместно, что вообще его догадки о Тимуровых странностях ничего не объясняют, да и имеет право Тимур быть странным...

– Кредитку давай. Да не бойся, не насовсем, я номер перепишу. Пробью этого твоего Тимура, который вдруг щедрый такой.

Лешка спрыгнул с перил, едва не столкнувшись с пухлой дамочкой, обремененной детьми и пакетами.

– Давай, давай, подруга, будем смотреть, куда ты влипла.

Никуда она не влипла, все нормально и даже замечательно. У нее есть работа и хороший предлог не появляться дома, хотя, конечно, бабушка будет возмущена, мама впадет в истерику, а отец скажет что-нибудь нелицеприятное об Ирочкином поведении. Ну и пускай, в катакомбах Тимуровой квартиры было тихо, уютно и поразительно безлюдно.

– Что я вижу? Сомнения?

Лешка скользнул по пластику взглядом и вернул. Ну да, у него же память абсолютная. А вид нелепый. По-весеннему прохладно, а он без куртки. Длинная жилетка с множеством карманов поверх старого свитера с заплатами на локтях, широкие джинсы, заправленные в высокие ботинки, и ко всему бандана, прикрывающая Лехины кудри.

– Думаешь, зря дернула? И что у каждого есть право на личную жизнь? И на небольшие странности?

– Мысли читаешь, – буркнула Ирочка, подстраиваясь под длинный Лехин шаг.

– Э нет, подруга, небольшие странности хороши в небольших порциях. Смотри, к тому, что вчера было, добавляется неожиданная просьба заночевать, притом совсем не с целью...

Все-таки смутился, закашлялся, хотя не болел класса этак с третьего.

– Ну ты поняла, да? Потом экскурсия эта, дверь, которую нельзя открывать. И тут же ключи, как нарочно для того, чтобы ты открыла. Если он не хочет, чтобы ты туда лезла, то какого ключи сует?

– Не знаю.

– И замки на всех дверях. Паранойя? Но тогда тем более ключи не дал бы. Щедрость... два дня тебя знает и уже дает кредитку. Хотя неизвестно, есть ли там деньги?

Деньги были. Наверное, много-много больше, чем потратила Ирочка, а тратила она без оглядки и стеснения. Нет, ну поначалу-то стеснение было, но Лешкин насмешливый взгляд, бухтение его, домыслы, собственные сомнения и предчувствие, с каким видом Тимур встретит Ирочкины покупки, привели к результату, неожиданному для нее самой.

Она купила вдвое против того, что собиралась.

Она возвращалась в дом, обвешанная пакетами, пакетиками и угрызениями совести, но Тимур не стал задавать вопросов, чеки, заботливо собираемые Ирочкой по магазину, велел отправить в мусорное ведро, и вообще сказал, что уходит.

Дела у него.

И у Ирочки тоже. Ирочку ждет пустая комната, бинокль, тетрадь и набор шариковых ручек. А еще, как выяснилось позже, стопка газет, но не серьезных, деловых, которые читает отец, а пухлых, пестрых. «Желтых».

Она окончательно перестала понимать что-либо, и снова захотелось позвонить Лешке. Впрочем, от этого шага Ирочка удержалась.

Над кладбищем орали вороны, стаи их клубились, то поднимаясь в воздух, то опускаясь на ветки-штыри весенних тополей, чтобы в следующий миг вновь взлететь. До кладбища не добралась весна, обосновавшаяся в городе, пропитавшая теплом улицы и дома, тут она не решалась подступить к цементному забору, в тени которого скрывались остатки снега. На кладбище земля дышала сыростью, темные стебельки, пробиваясь сквозь жирную плоть ее, выглядывали наружу, блестели слезною росой.

На кладбище ничего не изменилось.

Ближние могилы в аляповато-ярких венках нетленной пластмассы, лаковый гранит да золоченые буквы. Чем дальше, тем меньше лака и позолоты, и буквы стираются, и кресты-глыбы стареют, идут рябью, оспой возраста. Покрываются шубой блеклого мха и коростой ломкого лишайника.

Тимур закрыл глаза, вдыхая запахи, вбирая звуки, унимая беспокойство, которое, памятью подкормленное, не спешило уняться. Вот потянуло розами, настойчиво, назойливо, и ласковый голос Марата сказал:

– Ну что же ты? Иди, она ждет.

– Уходи.

– С какой стати? Между прочим, и я имею право быть здесь. Я даже цветы принес.

Молочные розы на длинных стеблях, небрежно перетянутые алой лентой.

– Как ты думаешь, она бы любила розы? И вообще, какой бы она была? – Марат положил букет на черную плиту, подумав, развязал ленту и вытянул один цветок, который кинул отдельно, поперек прочих. – Что? Между прочим, очень даже... изысканно. Ей бы понравилось. Как ты думаешь, понравилось бы?

– Она ромашки любила.

– Неужели? Или вы просто на розы не зарабатывали? А что, слюнявый романтизм, ромашки-василечки-лютики, поцелуйчики под луною, вздохи, клятвы в любви...

– Заткнись!

– И дать тебе поплакать над утратой? Очнись, Тимка, посмотри, тут ей всегда семнадцать, а было бы тридцать семь. Замужество, развод... ну или в худшем случае верность до гроба, рабство от обетов. Она стареет и дурнеет и, чувствуя это, становится несносной. Ревнует, пилит, грызет, потому что ты стареешь медленнее, ты все еще привлекателен. И ты знаешь, что привлекателен, а она уже не та Татьяна, о которой мечталось. Зато вокруг полно молоденьких, жадных, готовых на многое. Измены. Мятые простыни, грязная жизнь...

– Заткнись! – Тимур заткнул уши пальцами, но не помогло.

– Да если бы не я, она не была бы твоей даже на миг. Она бы легла под еврейчика, а потом забрюхатела, вышла замуж и снова – кастрюли-котлеты, раз в два года роддом, каждую неделю скандалы с тетей Цилей, тайный алкоголизм...

– Ты не знаешь, что это было! Ничего не было! Ты...

– Я сделал то, что должен был сделать. – Марат не позволил упасть на колени перед могилой. – Да прекрати ты эту театральщину, смотреть тошно... навестил? Долг отдал? Дома поплачешь, а теперь пойдем, у нас, между прочим, дел полно... К слову, я тут такую цыпочку заметил. Конечно, не сказать, чтоб модель, но в целом неплохо... да, определенно неплохо.

– Пожалуйста, не надо.

Кладбище закрывалось от живых стеной, вороны галдели, а весна через дорогу развалилась веселым многоцветьем, аляповатым, как пластиковые венки на недавних могилах, но в отличие от венков – недолгим. Еще пару недель – и настанет лето.

Еще пара встреч – и Тимур освободится.

Круглые глаза за круглыми очками, простыми, надетыми солидности ради и потому что модно. Розовый глянец на губах и алые мазки румян на высоких скулах. Волосы собраны в узел, брови подкрашены – слишком уж темные для такого лица.

– Чем могу помочь? – Ее глаза тотчас вспыхивают, губы приоткрываются, а потом смыкаются, раскатывая, разравнивая слой глянца. Пальчик скользит по волосам, голова чуть нагибается, позволяя оценить красоту шеи.

– Помочь? Вы можете меня спасти, милая фея, – говорит Марат, накрывая ее ладошку. Какой неслучайный жест, какой пугающий, но в то же время видится в нем обещание. Они все видят обещание и верят. – Ибо сердце мое пылает, я никогда...

Никогда не повторялся, находя новые и новые слова для своих мотыльков, а те спешат верить, летят навстречу, обнимая крыльями жестокий огонь.

Он ловит их на красоту, на сказку о принце, в которую свято верит каждая Золушка, пусть и не признается в этом. На убежденность, что уж с ней-то не случится беды и, наоборот, будет сказка.

Будет, но страшная.

И Тимур ничего не мог сделать, чтобы предотвратить убийство.

– Да ладно тебе, – шепнул Марат. – Вот увидишь, все будет классно. Она наша... она только наша.

Моя супруга, перечитав записи, снова смолчала, но теперь упрек на лице ее стал явен. В нем я вижу вопрос: что ты делал? И она права, увлекшись хронологией событий, я выпустил главное – Антуана, де Моранжа и свои тщетные попытки докопаться до истины.

Я уже рассказывал о причинах, каковые не позволяли мне пойти к Дюамелю или Денневалю, ибо подобное признание означало бы признание его вины, в которой я, однако, не был уверен.

Ко всему прочему отец, видимо, желая укрепить во мне веру в невиновность брата, спустя несколько дней после первого разговора предложил мне отправиться в гости к Антуану, на гору Мон-Муше, в хижину лесника. Надобно сказать, что дом уже не выглядел хижинной. Сложенный наново, прибранный и изнутри, и снаружи, он был крепок и удобен. Антуан, встретив нас на пороге, провел внутрь, охотно показывая жилище. Не скажу, что оно было необычно. Обыкновенно. Правда, полно шкур, которые были не слишком хорошо выделаны и оттого дурно пахли, но разве это столь важно?

– А вот и собаки, – сказал отец, отводя меня под навес, выстроенный за домом и упирившийся в каменную стену, где виднелось черное пятно пещеры. – Антуан их разводит по просьбе де Моранжа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.